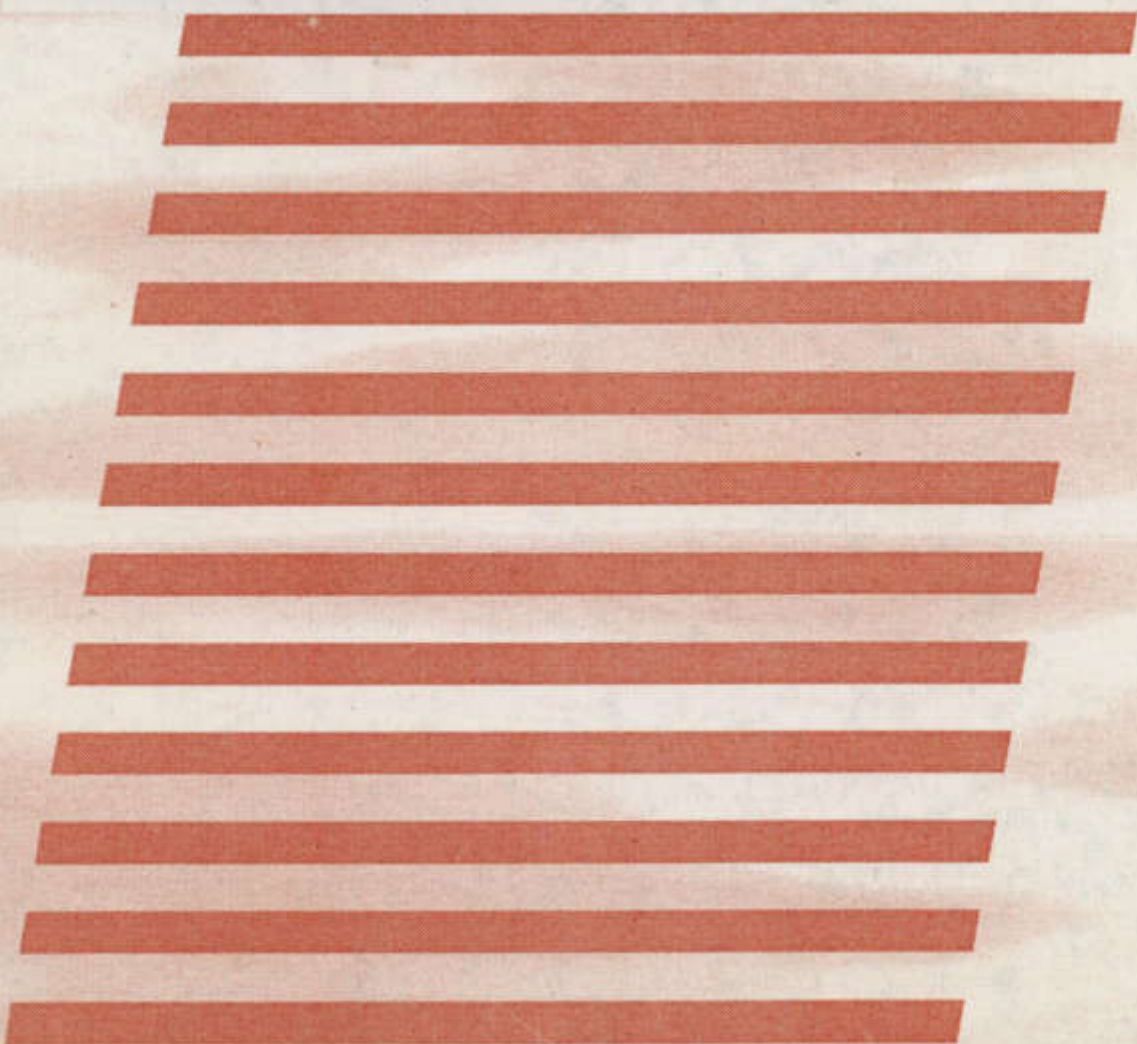




Владимир
КРЮКОВ

**КАК
РАЗМЫВАЛИ
ПАМЯТЬ**



Томское областное историко-просветительское,
правозащитное и благотворительное
общество «Мемориал»



Владимир КРЮКОВ

КАК РАЗМЫВАЛИ ПАМЯТЬ

Избранные статьи

Томск
2005

СОДЕРЖАНИЕ

Когда к перу приравняли штык	3
«Сибирь меня не забудет»	8
Третий допрос Михаила Шатилова	12
Как размывали память	18
«О своём я уже не заплачу...»	22
Глоток свободы	29
Политический	34
Я отвечаю за себя	41
Жертвы и наблюдатели	49
Нас время учило	54
Британия в сердце	61
То ли это, чего хотелось?	69

КОГДА К ПЕРУ ПРИРАВНЯЛИ ШТЫК



Имя Александра Васильевича Адрианова появилось в томской печати в год 70-летия советской власти. В газете «Красное знамя» из номера в номер печаталась эпопея про чекистов «Подвижники революции». Воспроизводилось постановление томской уездной ЧК об очередной карательной акции. В списке лиц, «запятнавших свои руки в рабоче-крестьянской крови» и расстрелянных марта 1920 года, первым стоит имя редактора газеты «Сибирская жизнь» А.В. Адрианова.

«Остался до последнего момента непримиримым врагом пролетарской революции», - подводит черту постановление ЧК.

Видимо, так оно и было. Не мог Адрианов принять большевистского переворота, для которого невооруженные граждане - «многоликий и коварный враг». Но вот боролся он с большевиками только печатным словом. А победившая власть, если перефразировать ее поэтического трибуна, приравняла к перу штык. Да и авторы эпопеи (печаталась в 1987 году!) «не решились» сказать о том, что не запятнал Адрианов рук в крови, что в дни ареста и расстрела это был 67-летний старик. Не посмели предположить, что ударом, от которого он не смог оправиться, а значит, и достаточным наказанием была для него потеря любимой «Сибирской жизни». Нет, газетчик, воевавший только словом, оставался врагом народа. А ведь и сам он предвидел это в 1917-м, когда написал: «В самом деле, разве не проще и не сильнее ответить на призывы к разуму одним презрительным словом «буржуй» или уже грозным «контрреволюционер»?..».

Александр Адрианов родился в 1853 году в Тобольской губернии. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. С 1879 года - постоянный сотрудник Г.Н.Потанина, участник и организатор ряда этнографических и археологических экспедиций по Сибири и Монголии.

В 1880 году Адрианов предпринимает первую самостоятельную экспедицию по исследованию древней истории Южной Сибири и сопредельных территорий. Этому и посвящена большая часть адриановских исследований. В поисках Александру Васильевичу сопутствует удача. Это не та капризная удача-Фортуна в расхожем поэтическом смысле. За этой удачей Адрианов со спутниками отправлялись труднопроходимыми тропами, а то и вовсе по бездорожью, преодолевая на лодках и плотах громадные расстояния. Им обнаружена масса петроглифов - наскальных рисунков.

Результаты его поисков - различные находки, предметы быта, религиозных культов - рассредоточены сейчас во многих музеях страны, в Императорской Археологической Комиссии, различных отделах Географического общества, в музее археологии и этнографии Сибири при Томском университете.

В музеях России хранятся и фотографии, сделанные Адриановым в разных медвежьих углах. Он одним из первых оценил важность фотографии как источника научной информации, как свидетеля жизни стихийной, неприбранной, натуральной. Он в числе пионеров окончил курсы фотографов, и с первых путешествий верным помощником исследователя стал фотографический аппарат. Это не было хобби. Современные мастера камер отмечают несомненное мастерство Адрианова-фотографа.

В 80-е годы был сотрудником «Сибирской газеты» и три года ее главным редактором. Газета была закрыта за антиправительственное направление. Но в те вегетарианские времена отстраненный от любимого дела Адрианов не «получил срок» и не стал изгоем общества. Вынужденно проживая некоторое время в Минусинске, он вернулся к занятиям археологией. Результат изысканий - солидный труд «Очерки Минусинского края». Перу Адрианова принадлежат также работы «Путешествие на Алтай и за Саяны», «Город Томск в прошлом и настоящем», «Томская старина», «Периодическая печать в Сибири». Перечень этот говорит о широте интересов Александра Васильевича, что роднит его с великим земляком Григорием Потаниным. Потанин был его старшим товарищем. Оба они дорожили этой дружбой.

В 1916-1919 годах Адрианов - главный редактор газеты «Сибирская жизнь». Это издание пользуется большой популярностью у читателя, имеет влияние и добрую репутацию в

обществе. Редакторство Адрианова пришлось на страшное лихолетье России - первая мировая, февральская революция и октябрьский переворот, гражданская война, которая в Сибири приняла особый, затяжной характер. В этих условиях «Сибирская жизнь» сохраняет верность лучшим демократическим традициям. И, конечно, идеология ленинцев никак не вызывает адриановских симпатий. «Работа анархического большевизма с государственной точки зрения носит разрушительный, дезорганизующий характер и ведет государство к гибели. Нам грозят обнищание, одичание и застой». Согласитесь, что по железной логике большевизма этих слов было достаточно для вынесения смертного приговора.

В декабре 1989 года газета «Красное знамя» отметила дату - 70 лет установления в Томске советской власти. Среди прочих материалов я увидел с полсотни строк под заголовком «Из дневника А.В.Адрианова». Стояли подписи подготовивших полосу - историк Н.Ларьков и сотрудник партархива А.Одинецкий. Неужели дневник Александра Васильевича хранится в архиве Томского обкома КПСС?

- Да,- подтвердил при встрече Николай Ларьков. И обнадужил:

- Времена нынче другие, проси, покажут.

Правда, меня - недавнего зачумленного - не только допустили в святая святых, но и позволили почитать несколько страниц этого дневника. Увы, это были лишь *фотокопии*. Интересно, что бывший заведующий партархивом (ныне покойный) М.И.Чугунов - точный, аккуратный архивный работник не оставил запись об источнике информации.

Я наводил справки. Ни в краеведческом музее, ни в государственном архиве, ни в музее истории, археологии и этнографии университета никакого дневника нет. Справился в КГБ. Ответили, что и у них нет ни дневника, ни следственного дела.

И вдруг в начале 91-го узнаю, что следственное дело существует и как раз сейчас находится в прокуратуре, где рассматривают, возможна ли политическая реабилитация Адрианова. Оснований для реабилитации не нашли, а познакомить меня с документами категорически отказались, ссылаясь на гриф «Секретно».

Однако томские интеллигенты, что называется, «без спросу» открыли памятную доску Адрианову на доме, где работала «Си-

бирская жизнь», (угол переулка Нахановича и улицы Гагарина). Это отдельная героическая история. После данной акции областная прокуратура объявила-таки о политической реабилитации редактора газеты.

Опущу также историю моих новых обращений в Комитет государственной безопасности. Весной 93-го мне был назван день и час встречи. И вот я - впервые добровольно - прошел в один из кабинетов КГБ и открыл папку со следственным делом Адрианова. Следственное дело, конечно, фикция. Он был арестован 22 декабря 1919 года, спустя пять дней были взяты предварительные (и единственные) показания. В частности, Адрианов пояснил: «Свою работу в «Сибирской жизни» я считаю методом политической борьбы, а отнюдь не преступлением, т.к. в газете я помещал статьи, в коих выражались мои политические убеждения».

Среди обвинительного материала - а это газетные вырезки, официальная и частная переписка - были мною обнаружены и листы дневника, написанные его четким нестарческим почерком, хотя шел Александру Васильевичу 67-й год. (Я опубликовал адриановские записи в альманахе «Сибирская старина» №6 за 1994 год).

29 февраля 1920 года на заседании томской ЧК заслушали вопрос по обвинению редактора «Сибирской жизни» в контрреволюционных действиях и постановили: «Применить высшую меру наказания - расстрел. Имущество конфисковать».

Дату смерти с полной достоверностью не назвать. О том, что приговор приведен в исполнение, газета «Знамя революции» сообщила 7 марта 1920 года.

Газета эта, кстати, стала выходить на базе «Сибирской жизни» сразу после закрытия последней в декабре. И доска, посвященная ее редактору Вегману тоже на здании редакции есть, только с другой стороны. Такой вот сегодня получился плюрализм.

Хочу привести одну запись из предсмертного дневника Александра Адрианова.

«19 декабря... Пользуясь праздничным днем, я пошел навесить Гр. Н. Потанина в госпитальную клинику... Он очень слаб. Улучшения, говорит, нет, все слабеет и думает, что не встанет. Голова, говорит, не работает, «я теперь неинтересный, скучный, не отрываюсь на происходящее». Газету ему уже не читают - ему трудно слушать и усваивать... Одиночество и это лечение без какой-либо

определенности болезни ему тягостно, он передумывает, перебирает в памяти прошлое... Организм заметно разрушается, и духовные силы, до самого последнего времени еще побеждавшие физические немощи, ему изменили.

На переднем и обратном пути к клиникам я встречал разбегавших в кошевках красноармейцев с винтовками, видел на Садовой и какой-то пеший отряд с красным флагом, встречал группы городской самообороны с винтовками, слышал неистовые крики у «Дома Свободы» - видимо, то были приветствия ораторам».

С тяжелым чувством прочел я тогда, в чекистском архиве, эту запись. Александр Васильевич, сострадав Потанину, видимо, не предполагает, что великий старец переживет его (правда, на каких-то три месяца). Наверное, он не подозревает и том, что этот декабрьский шабаш с неистовыми криками, с красным флагом вовлечет его в свою смертельную свистопляску. Ведь он не считал свою работу преступлением.

Но пришли люди другой генерации, разом отменившие все нормальные человеческие понятия и представления...

«Томские новости»,
11 мая-2001 года.

«СИБИРЬ МЕНЯ НЕ ЗАБУДЕТ»



Сегодня на здании краеведческого музея будет торжественно открыта мемориальная доска Ростиславу Сергеевичу Ильину. Отдел Западно-Сибирского геолого-разведочного треста, где работал Ильин, размещался в 30-е годы в помещении музея.

Ростислав Ильин - почвовед, геолог. Но вот так просто обозначить профессию, в данном случае почти ничего не сказать.

Нет, Ильин действительно добросовестно выполнял прикладные задачи, исследуя и описывая регион, куда он попал не по своей воле. Его «Природа Нарымского края» - образец глубокого, досконального исследования. Но Ильин был не только практик. Это ученый в старинном значении слова - всесторонне образованный, имеющий свою целостную концепцию и *картину мира*. У Ильина она была - смелая, спорная, оригинальная.

В первой половине минувшего XX века он сопоставим в своей сфере с Владимиром Вернадским. Они, кстати, были знакомы. Их связывала переписка - равного с равным (изъята органами НКВД и в большей части утрачена).

Но зато архивы этой организации сохранили другое.

Полистаем некоторые документы. 14 августа 1954 года на имя Председателя Президиума Верховного Совета СССР К.Е.Ворошилова было отправлено письмо от Веры Сергеевны Ильиной. Она сообщала, что в 37-м ее брат Ростислав был осужден на 10 лет без права переписки. «Мне представляется невероятным, - писала она, - чтобы человек в Советском Союзе мог исчезнуть бесследно. Я хотела бы знать, жив ли он и где находится. Если он жив, прошу Вас облегчить его участь».

Ростислав Сергеевич давно уже не был жив. Его расстреляли в 37-м. Но для всех знакомых именно исчез бесследно. Ведь это позднее стало общеизвестным значение фразы «10 лет

без права переписки». А Вера Сергеевна надеется на лучшее, прилагает к письму отзыв академика Польшова о научной работе брата. И академик дает прекрасную характеристику и полагает, что Ильин «из числа возможных кандидатов на кафедру почвоведения Почвенного института Академии Наук ...является одним из достойнейших».

Однако наверху молчат, будто воды в рот набрали. 23 сентября Вера Ильина пишет Председателю КГБ И.Серову. Ей обещают сообщить о результатах пересмотра дела и... опять молчат. 2 февраля 1956 года она вновь обращается к Ворошилову: «...до сих пор я не получала о моем брате никаких сведений».

И вот колесо расследования наконец запущено. В Томске начинается опрос людей, помнящих Ильина. Люди осторожны в высказываниях. Привитый десятилетиями страх не отпускает.

И все-таки Ильина достойно характеризуют геологи И.Мягков и А.Сивов. Геолог Ф.Кузнецов не может «дать характеристику из своих личных впечатлений», поскольку вместе не работал, однако свидетельствует, что был на лекции Ростислава Сергеевича и на диспуте с академиком Усовым, «из чего сложилось мнение, что Ильин глубоко убежден в своих концепциях».

Геолог, зав. кафедрой полезных ископаемых Александр Аксарин: «Я могу сказать, что Ильин был дерзающим в науке человеком, опытным исследователем, имевшим пылкий ум, авторитетным в научном отношении».

Никто не признает за Ильиным каких-либо антисоветских настроений.

15 мая 1956 года отделением военного трибунала СибВО постановление тройки УНКВД Запсибкрая от 10 августа 1937 года в отношении Ильина Р.С. отменено, и он посмертно реабилитирован.

Но тогда, в 37-м, были найдены «свидетели» другого свойства или их сделали таковыми в застенках НКВД. Научный сотрудник ботанического сада ТГУ А. Новак подробно рассказывает, как он по рекомендации эсера Донского сошелся в Томске с Ильиным и создал в ботсаду террористическую группу. Он рассказывает это на очной ставке с Ростиславом Сергеевичем, и следователь почти торжествует:

- Признаете ли себя виновным в этом?

- Ни в коей мере, - отвечает Ильин. - Заявление Новака - ложь и предательство.

Он отказывается подписывать протокол очной ставки (как и в случае со свидетелем Г.Троицким.). Начальник 4 отделения Томского горотдела НКВД лейтенант госбезопасности Лихачевский и сотрудник отделения Фоменко составляют акт по поводу этого отказа.

Строптивый им попался арестант. Не зря, как вспоминал тот же Кузнецов, «по своему характеру Ильин был очень резок, за что его прозвали «Ростиславом Неистовым».

Да он уже и привык, что органы постоянно дергают его и мешают работать. Впрочем, предыдущие отсидки он проводил с пользой для дела - обдумывал и писал. В заявлении томскому прокурору после ареста 1931 года он так и говорит: «Мой безупречный стаж советского специалиста не прерывался за время моего пребывания в тюрьмах, он не прервется и в будущем, - были бы здоровье и силы».

Убежденность в необходимости своего труда, одержимость идеями, творчеством позволяла ему воспринимать аресты и заключение под стражу просто как досадные помехи на избранном пути.

Вот и ещё об этом в письме к поэту и художнику Максимилиану Волошину: «В бессонные тюремные ночи я понял то, что на самом деле так просто, как и закон всемирного тяготения, и вместе с тем так сокровенно. Моя тема велика, написать её в моих условиях, - не просто, - не знаю, удастся ли разработать.. Я послал основные положения в печать, - они так просты, что за них схватятся все живые люди и сумеют их разработать...»

Может, кому-то покажется неожиданным адресат почвовед и геолога. Но сам Ильин поясняет: «Я как естествоиспытатель много обязан Вам и другим русским поэтам, постигавшим Хаос и Космос».

Ильин, как вспоминает его жена Вера Валентиновна, «делил людей на две категории: одним жизнь дана, другим - задана. Попадая на новое место, он первым делом задавал себе вопрос: «Зачем судьба закинула меня сюда?».

Вероятно, оказавшись в нарымской, а затем томской ссылке, Ростислав Сергеевич спросил себя об этом и ответил практи-

ческими делами, научными работами. В докладной записке 1932 года он уверенно нарисовал перспективы Западной Сибири как нефтяного и газового региона. И обосновал это в статьях «Об условиях нахождения нефти в Западно-Сибирской низменности» и «К проблеме сибирской нефти».

В уже упомянутом заявлении томскому прокурору Ильин написал: «Я все время работал, получая нравственное удовлетворение, и всегда буду вспоминать Сибирь с благодарностью, равно как и она меня не забудет».

Открытие памятной доски - свидетельство того, что мы не забыли Ростислава Ильина.

Но это лишь начало. Многие блестящие работы ученого до сих пор остаются неизданными.

«Томский вестник»,
4 декабря 2002 года.

ТРЕТИЙ ДОПРОС МИХАИЛА ШАТИЛОВА



В марте 1923 года в Москве прошел Всероссийский съезд бывших рядовых членов партии социалистов-революционеров. Они осудили свое прошлое. По стопам, правда, с достаточно большим отставанием, в декабре, провели свою конференцию бывшие томские эсеры. Здесь тоже произносились покаянные речи.

В газете «Красное знамя» появилось такое «Письмо в редакцию»:

«Считаю своим долгом в настоящее время публично заявить, что я фактически выбыл из партии соц.-рев. в конце 1919 года... Я совершенно устранился от политической жизни и не могу, не в силах в данное время какими-либо актами обязать себя к политической активности в будущем.

В настоящее время остаток своих сил и свои скромные знания считаю долгом отдать, как социалист и сибиряк, на служение трудовому народу и дорогой мне Сибири на культурно-просветительском поприще в целях борьбы с надвигающейся реакцией, всяческим мракобесием и ради укрепления едва нарождающейся новой светлой жизни - преддверия социализма.

Мих. Шатилов 12 декабря 1923 г.».

Кем же он был, автор этого покаянного письма в редакцию?

РАЗНОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК

Михаил Бонифатьевич Шатилов - подлинный патриот Сибири, человек даровитый и разносторонний. В начале 1900-х, будучи студентом юридического факультета Томского университета, он одновременно слушает лекции по истории и литературе. В эту пору он всерьез занимается научной работой. Но, что совершенно замечательно, *студенту* Михаилу Шатилову доверяют написать устав Общества изучения Сибири, где он становится третьим лицом после Григория Потанина и Владимира Обручева. Сколько замечательных людей объединили здесь любовь к малой родине - Сибири и желание послужить ей. Ша-

тилов близко сходится с А.Адриановым и Г. Потаниным, проникается областническими настроениями.

Обнаруживается литературский, журналистский дар Шатилова. Он постоянный автор популярной в разных слоях общества газеты «Сибирская Жизнь». В 1914-16 годах редактирует свой журнал «Сибирский Студент», где наряду с обсуждением проблем образования поднимаются вопросы будущего развития самостоятельной Сибири.

Поэтому совершенно не случайно, что после Февральской революции мы встречаем имя Шатилова, члена партии социалистов-революционеров с февраля 1917 года, среди действительных борцов за сибирскую автономию.

На манифестации 1 мая 1917 года томичи впервые увидели среди знамен бело-зеленый флаг - символ областной Сибири. А 8 октября в час дня в актовом зале университета (ныне старый корпус Научной библиотеки) открывается общесибирский съезд.

Вечером 9 октября Шатилов начал свой довольно обширный доклад «Сибирь как составная единица Российской Федеративной Республики». Как фиксирует стенограмма, «за поздним временем и утомленностью членов съезда» продолжение перенесено на другой день.

Доклад Шатилова содержал основные положения автономного областного устройства. Съезд принял постановление, в котором законодательным органам была объявлена Сибирская Областная Дума. Она должна была получить в свое распоряжение народное достояние - земли, недра, леса и воды - на тех основаниях, которые установит Всероссийское Учредительное Собрание. То есть автономная Сибирь задумывалась как составная часть Российской Республики, и областники признавали главенство центрального парламента.

Октябрьский переворот, разумеется, вносит определенную неуверенность в планы сибирских политиков. Однако после падения большевистской власти в Сибири вновь оживают областнические надежды. Летом 1918-го в Омске начинает работу Временное Сибирское правительство, в котором Шатилов получает пост министра туземных дел. Но уже с декабря 1918-го до конца 1919-го Михаил Бонифатьевич работает в Томске уполномоченным Сибирского Союза земель и городов.

Здесь он и встретил волну триумфального шествия советской власти, которая докатилась до Томска в декабре 1919-го. И хотя служба в Сибирском правительстве была недолгой, большевики дважды его арестовывают, что ни говори, человек подозрительный.

Однако до суда дело не доходит. Трудно понять логику этих строителей нового мира. Шатиловского единомышленника Александра Адрианова расстреляли, а Михаилу Бонифатьевичу позволено оставаться научным сотрудником университета на кафедре «Туземное право и быт». А после закрытия кафедры в 1922 году предложено возглавить открывающийся краевой музей. Здание на проспекте Ленина, где музей размещается и поныне, было получено не без усилий Шатилова.

ПОКАЯНИЕ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ

Видимо, Шатилов оценил эту милость советской власти. И посчитал необходимым сделать свой шаг навстречу, счел нужным публично отречься от былых идеалов, от всякой «политической активности». Что и сделал в приведенном письме в «Красное знамя». Да и правда, в пору становления музея он сполна отдает себя исследовательской, научной работе. Это было - при активном участии Шатилова - время расцвета этнографии в Томске.

Зенитом этнографических исследований самого Шатилова была поездка в 1926 году к хантам (остякам) реки Вах. Это было сделано по инициативе Томского краевого музея. В ходе четырехмесячной поездки выполнялось и задание Главного Комитета Севера при ВЦИК - как приспособить старый уклад жизни коренных народов к новым социалистическим обстоятельствам и реалиям. В результате была написана и в 1931 году опубликована книга «Ваховские остяки». Однако и самоотверженная работа, и публичное отречение от бывшей политической деятельности не гарантировали гражданской безопасности и неприкосновенности.

В апреле 1933 года Шатилов арестован ОГПУ и препровожден в Новосибирск. Ему предъявили обвинение в том, что «будучи членом краевой контрреволюционной организации, он по заданию центра создал в г. Томске контрреволюционную

группу среди интеллигенции в составе 8 человек, т.е. в действиях, предусмотренных ст. 58-2-11 УК». По сути, Шатилов стал одной из главных фигур большого политического спектакля, поставленного чекистами.

На первом допросе он сделал признание в том, что занимал в пресловутой организации роль руководителя томской группы, «которая мною была создана в Томском обществе изучения Сибири и ее производительных сил». Другой протокол (21 апреля) начинается характерной фразой: «Желаю быть искренним до конца, о своей работе в контрреволюционной организации показываю следующее...». Он говорит о связях, называет имена.

Неизвестно, что за методы воздействия к нему применялись. Может быть, были встречи и беседы, не отмеченные протоколом. Но какие-то построения и допуски сегодня трудно или, вернее сказать, невозможно проверить. Однако поначалу все идет по навязанному постановщиками из НКВД сценарию.

ИЗ ПОВИНОЕНИЯ ВЫШЕЛ

И вдруг ситуация меняется. Похоже, Михаил Бонифатьевич понял, что на сей раз дверь на свободу не откроется. И, наверное, это, странным образом, освободило его внутренне. Он не хочет больше играть предложенную ему роль, «признаваться» в гнусных замыслах, а потом каяться.

Программа, которую излагает Шатилов 26 апреля на третьем допросе, не навязана ему, не надиктована. Это его истинные мысли, его бывшие идеи (кстати, при обыске у Шатилова были изъяты газеты и книги областнического направления и еще папка с материалами Общества по изучению Сибири). В протоколе совершенно определенно выражено несогласие с нынешней линией государства.

«Новое государство должно строиться по принципу областей и их самостоятельного экономического и политического развития.

Крестьянство должно перевоспитываться в духе восприятия идей социализма, причем в этих целях допускается организация крестьянских союзов на основе руководства ими со стороны социалистических групп и объединений.

Рабочий класс не должен пользоваться особыми преимуществами перед крестьянством или какими-либо другими слоями населения, как это имеет место при Совласти.

Коммунистическая партия объявляется распущенной, а в случае попытки ее к активной работе против нового государства в отношении ее должны быть приняты жесткие репрессии.

В стране должно существовать полное раскрепощение мысли, школы должны быть без всякой политики, их задачи - это продвижение науки по пути прогресса...

Развернутое большевиками крупное промышленное строительство сокращается до пределов, возможных к легкому его освоению.

В целях поднятия благосостояния сельского хозяйства и крестьянства колхозы распускаются и вновь могут возникать только на условиях полной добровольности и самих крестьян, и ни в коем случае не могут пользоваться преимуществом перед другими формами сельского хозяйства.

Вся политическая ссылака, политзаключенные и так наз. «кулацкое переселение» должны немедленно быть освобождены, и им должно быть предоставлено право вернуться в прежние свои места при известной помощи государства».

Отсекая пути к отступлению, Шатилов высказал убеждение в том, что «среди всех слоев населения нарастает глубокое недовольство Соввластью, а в деревнях это недовольство получило завершение в вооруженном выступлении в целом ряде районов Западной Сибири и других областей. Это создавало среди нас уверенность в *необходимости поднятия вооруженного восстания*». (Эти слова в протоколе подчеркнуты чьим-то карандашом - В.К.).

Да, Шатилов не стал писать под диктовку. Не знаю, верил ли он в реальность вооруженного восстания или это все-таки уступка следователю Погодаеву. Но он выговорился, распрямился.

12 мая 1933 года Михаилу Бонифатьевичу было объявлено об окончании следствия по его делу.

В августе 1933 года постановлением коллегии ОГПУ Шатилову была определена мера наказания - заключение в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет.

Время и место смерти Михаила Бонифатьевича неизвестны. Был слух, что жизнь его оборвалась на Соловецких островах. Томский этнограф Н.В.Лукина, отыскавшая и издавшая труд ученого «Драматическое искусство ваховских остяков», ездила на Соловки, но никаких следов пребывания там Шатилова обнаружено не было.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Сегодня имя Шатилова вернулось из забвения. Оно звучит на научных конференциях, появляется на страницах исторических сборников. И всё-таки этого мало. Потому я полностью солидарен с ребятами-краеведами из детско-юношеской организации «Муравейник». «Мы полагаем, - пишут они в своей газете, - что нашему краеведческому музею пора присвоить имя его создателя и первого директора М.Б.Шатилова».

Это вполне совпадает и с намерениями «взрослой» общест-венности, знакомой с трагической судьбой Михаила Бонифатьевича Шатилова.

«Томские новости»,
18 декабря 2003 года.

КАК РАЗМЫВАЛИ ПАМЯТЬ

Где-то на половине пути капитан сказал старпому: «Проверь буксирный трос, может, пригодится». И помощник подумал, что капитан знает, куда и зачем они идут. С экипажем он этим пока не поделился.

Да, капитан получил необычное задание. Такое не всякий год выпадает. В парткоме Томского речного порта с ним говорили люди из комитета госбезопасности. Важная и ответственная акция предстояла теплоходу. Строптивая Обь, уже не первый год омывающая яр у старого северного городка Колпашево, нынче вообще выкинула фортель. Обвалился очередной пласт земли, и срез обрыва обнажил человеческие захоронения. Навигация только-только началась, пошла вторая декада мая 1979 года, и нужно было устранить неприглядную картину, которую люди могли наблюдать с воды.

В головах, отвечающих за безопасность государства, родилось крутое и радикальное инженерное решение: поставить кормой к яру теплоход и работой его винтов значительно ускорить разрушение берега. И, что называется, концы в воду. У капитана спросили, выполнимо ли такое и каков будет эффект. Он ответил, что теплоход достаточно мощный, две тысячи лошадиных сил, все должно получиться. Капитан осторожно поинтересовался, что это за захоронение. Ему ответили: «Дезертиры и рецидивисты, расстрелянные в сорок третьем году».

И вот теплоход Владимира Петровича Черепанова подошел к Колпашеву. На срезе обрыва выделялся прямоугольник братской могилы. Со стороны берега место обнесли новым глухим забором и установили дежурство.

Трос, который капитан просил в свое время проверить, зачалили на берегу за мертвяк - большое бревно, врытое в землю. В ночь с 11 на 12 мая началась работа. Дизелям дали обороты. Привередливое течение сорвало теплоход с якоря, развернуло, и в считанные минуты трос снес забор в реку. Однако менее чем за день сооружение было восстановлено в полном объеме. Щиты подвозили разные машины, и было впечатление, что заказ расписан по органи-

зацией города. Вот тут-то речники и подумали, что задание у них и вправду нерядовое. С участием капитана, местных руководителей, представителей уже поименованного учреждения был обсужден новый этап операции.

Выше по течению встал другой теплоход, тоже достаточно сильный, и взял на буксир ОТ-2010. И опять вспенилась холодная обская вода. Мутные струи от винтов погнало на оттаявший нижний грунт. Прошли часы. Земля поддавалась плохо. Но экипаж продолжал работу. Снизу песка было вымыто достаточно много. Наконец берег стал рушиться. Комья мерзлой земли падали и на палубу. В реку повалились кости. И когда они обрушились, на срезе яра на глубине метров двух появились темные прямоугольники новых ям.

Теперь там были не кости, а тела. Впрочем, телами назвать их трудно. Они были так спрессованы общей могилой, что стали похожи на белье, выходящее из-под валика стиральной машины. В падении от них отделялось то, что когда-то было одеждой.

- Она отлетала, как пепел,- запомнила матрос Нина Макаровна Вторушина.

Очевидцы и участники этой необычной работы говорят, что группы были в розоватом (может быть, от взаимно пропитавшей их крови) нижнем белье.

Один из чекистов сказал: «Будем работать дальше». «Маленькое санитарное мероприятие» (такой термин был предложен) принимало серьезные масштабы. Черепанову сказали, что теплоход его в аренде у горисполкома и что расходы будут оплачены.

Вниманием экипаж обойден не был. Кураторы справились: как у повара в смысле запасов, есть ли мясо? Назавтра мяса подкинули, люди питались хорошо. Лишним запретили торчать на палубе. Да и то правда, если твое место в машинном отделении, тут и делать нечего. Но те, кому по долгу службы пришлось быть наверху, запомнили жутковатую картину. Отваливаясь вместе с кусками мерзлого грунта, трупы ломались пополам, и из стен обрыва торчали руки и ноги.

Станислав Николаевич Копейкин, старпом, запомнил падавшие иногда вниз пустые бутылки. Откуда они? То ли палачи выпивали после расправы, то ли что-то другое. Одним запомнился очень сильный тлетворный дух, другие говорят, что запах относил ветром, и он мешал не очень.

А берег обнажал новые ямы, и падали то кости, то расплюснутые, высохшие, выкатые оболочки человеческих тел и становились мертвыми без погребения, и обская вода не обмывала покойников. Нечего было обмывать. Останки либо шли на дно, либо изрубались винтами теплохода, либо плавали по течению. Люди помнят мужчину лицом вниз с распластанными над головой руками.

Организовали службу ловцов ниже по течению, уже в районе пассажирской пристани. Они должны были вытаскивать тех, кого не размотало винтами, и, видимо, предавать земле. Однако происходила «утечка информации», и позже рыбаки видели в тальниках клочья того, что некогда было человеком.

На теплоходе, конечно, теперь уже не очень верили, что это дезертиры из сорок третьего года. Что-то слишком их много в одном месте, будто со всей Сибири свезли. Однако никто и не требовал, чтобы эта версия была принята на веру. Просто: вы спросили, мы - ответили. Иное дело, что возникли предположения и догадки иного свойства.

- Может, ты отца своего тут моешь, - сказала капитану жена Галина Сергеевна. Отец Черепанова ушел добровольцем в сорок первом и пропал без вести.

Да, люди чувствовали себя не очень уютно, но никому в голову не пришло отказаться от работы или возмутиться, что это делается не по-людски. Да, соглашались сейчас, необычная, конечно, работа, не е н а ш а. Но люди мы подневольные: приказ есть приказ, да еще три эти грозные буквы учреждения, принявшего на себя ответственность.

Работа растянулась на трое суток. Сожгли десятки тонн топлива, несколько раз при очередном обвале грунта обрывался трос, связывающий с берегом. Отходили, снова зачаливались, и опять, медленно поворачиваясь кормой вправо-влево, гнали винтами струю. Теплоход вошел в берег на полный корпус - добрую полусотню метров, образовалась такая бухта. Наверху появились буровые установки, делались грунтовые пробы на предмет новых могил. Но, кажется, все кончилось. Кончились и дежурства у забора, не нужен вскоре стал и сам забор.

Организаторы мероприятий оценили исполнительность и профессиональные навыки речников. После ремонта - замены гребных валов и винтов, истертых грунтом, - теплоход явился в Томский порт для того, чтобы заняться своей прямой работой - перевозкой

грузов. И вот тут вручили членам экипажа, так сказать, памятные подарки. Впрочем, память-то как раз и не советовали этим эпизодом загружать, СДЕЛАЛИ - И ЗАБУДЬТЕ. Теплоход сходил в Колпашево, доставил туда гравий и отсыпал в вымытую бухту - и берег укрепили, и кости упавшие засыпали.

Но когда упала вода, ниже по течению, в нескольких сотнях метров, обнажился островок, усеянный белыми костями, - мертвые не хотели, чтобы о них так просто забыли.

Это было ровно десять лет назад.

«Молодой ленинец»,
22 апреля 1989 года.

Первая публикация в Советском Союзе.

P.S. С первой страницы еженедельника улыбался Ильич с приветливой ладошкой. Тогда еще он однозначно отделялся от своего кровавого последователя. Цензура сняла три строки в моем материале. Там, где растерянного капитана просили не волноваться, потому что вопрос решен и в самых верхних партийных кабинетах.

Это была первая публикация в советской прессе о Колпашевском яре. Капитан Черепанов спросил меня: «Володя, а ты не боишься?». Я ответил ему, что, кажется, уже надоело бояться. Потом, спустя время, появились статьи на эту тему и в других изданиях. Ужасная история взбудоражила людей.

Но слов покаяния от Егора Кузьмича Лигачева, бывшего тогда первым лицом области, мы не услышали. Много позже он объяснил, что дело взял под контроль Андропов и сказал, мол, будем заниматься этим сами. Что мог сделать в этой ситуации Лигачев? Такой ли беспомощной пешкой был он, как пытается представить сегодня? Для меня почти несомненно: он мог принять участие в этой «операции» и придать ей характер *перезахоронения*, а не щичного повторного уничтожения, как это было сделано. Неужели он так боялся «ослушаться»? Неужели пресловутая партийная дисциплина как гробовая доска прихлопнула чисто человеческие побуждения? А может, их и не было вовсе - побуждений? Возврата не этого ли порядка и контроля вы нам сегодня обещаете, товарищи под красными полотнищами? В таком случае, как говорили в старину, увольте.

«О СВОЁМ Я УЖЕ НЕ ЗАПЛАЧУ...»



Невозможно было не засмотреться на легкость и изящество этой безусловно не молодой женщины. Мы познакомились с нею в подмосковном Пушкине. Паулина Степановна Мясникова была участником международной конференции «Сопротивление в ГУ-Лаге».

И я спросил, где же пришлось работать там, на Колыме. И когда она ответила просто «На лесоповале», я уточнил: «Сучки рубили?»

«Ветки жгли?».

- Да что вы, - сказала она. - Деревья валили вот такие.

- Но, Паулина Степановна, вы же не были крупнее, выше, чем сегодня. Как с вашей-то хрупкостью выдавать ежедневные эковские нормы?

- Нормы и правда не всегда тянула. Но даже научилась пилить одна. Отаптывала снег вокруг ствола так, чтобы ручка пилы с той стороны утыкалась в сугроб и как бы отдавала назад. Не забуду, как тяжело шли смолистые деревья, плотные как камень, с хвониками, но не ель, не сосна...

- Лиственница?

- Да, да, лиственница.

Первый раз ее взяли в 1928 году. Была она ученицей девятого класса. Старшего брата-студента арестовали как троцкиста. Ее выспрашивали о друзьях-товарищах брата, о круге общения, но она никого не называла. Держали её в одиночке два месяца. Возвращаясь из тюрьмы, она поняла - в дневную школу путь заказан. Окончила вечернюю, скучала без своих подружек.

Но это были только цветочки. Брат, уже отбывший ссылку, арестован повторно и она следом - как нитка за иголкой. Теперь уже её - студентку - отправили в ссылку в Казань. Прямо по Библии - за брата своего. Ну что ж, она приняла это как крест. Жила в Казани, вышла замуж тоже за ссыльного. Жилось не просто: нужно было зарабатывать, а работать не давали.

Тут застало их убийство Кирова. Вскоре вызвал ее следователь НКВД Царевский (так ярко представленный в «Крутом маршруте» Евгении Гинзбург). Потом их с мужем приглашали выступить в газете «Красная Татария». Требовали одного - обличить, осудить убийц, то есть, по сути, подписать себе приговор. Они отказались, но этим, понятно, не спаслись. За четыре месяца до конца ссылки арестовали Паулину и дали десять лет.

Начала она отбывать свою десятку в политизоляторе Ярославля. Потом долго везли их на край земли. Тут, во Владивостоке, она встретила с братом.

- Тысячи бараков. Клопы жирные и злые. Холодные ночи, когда спасались тем, что заворачивались вдвоем в один бушлат. И там, на пересылке, один мужчина, тоже зэк, внимательно вглядывается в меня и спрашивает: «Есть у вас брат Ваня Самойлов?». Я сказала: «Есть».

И вот мы увиделись. И неделю с ним встречались. Он говорил, что скоро, очевидно, их будут отправлять. Но первыми отправляли нас, женщин. И когда мы уходили на этап, он сказал мне: «Прости, я загубил тебя». «Что ты говоришь, - сказала я ему, - ты же - мой брат». Он долго мне махал рукой из-за забора. И это была наша последняя встреча. Больше я брата не видела.

По прибытии в Магадан она и попала на тот самый лесоповал. Работа тяжкая, но выручали молодость и здоровье. Когда еще лес был близко от лагеря - ничего, ходьбы меньше. А если километров восемь туда и восемь обратно... Но и тут старалась убедить себя, что ее положение не самое худшее. Знала, что идет война, убивают людей, горят дома. А тут и крыша над головой есть, и бомбы с неба не падают. Но это малое утешение, когда сломана жизнь. Что же тогда спасало?

- Ехали мы с одной тюрьмы, с ярославской. И на этапе уже как-то перезнакомились и сказали себе, что мы должны друг друга держать. И выжили мы благодаря товариществу. Хоть и теряли надежду и были минуты отчаяния. Я хочу сказать, что такое братство - оно выше родственного. Когда умерла моя сестра, было мне горько, но когда умерла Женя Гинзбург, с которой я прошла этот круг ада, это была огромная потеря. Я поняла, что такое фронтовая дружба. Вот такие теплота и нежность и у нас. Лагерь нас сблизил. Эти отношения нас спасли.

Среди нашей группы тюрзаков, как называли приговоренных к

тюрьме заключенных, отправленных потом в лагерь, выделялась иркая, талантливая, внешне очень красивая Женя Гинзбург. Какой она мне запомнилась в вагоне, который вез нас на Колыму.

Смуглая, с красиво вьющимися волосами - локонами - женщина. Мы все ей любовались. Когда я познакомилась с ней ближе, я вспомнила, что читала ее статьи на литературные темы. У нее была дивная память, и потом, в бараке, она часто наизусть читала.

Мы вообще этим поддерживались. Даже когда шли разбитые после работы из леса, кто-нибудь тихонько читал стихи. Иногда я упрашивала надзирателя отпустить после работы до соседней командировки - это километров 5-6 - попроведать наших подруг. Идешь в сумерках и боишься одного: человека. Встретятся урки, изнаслуают, убьют. Как-то заплутала в лесу, бродила всю ночь, чтобы не замерзнуть, только ранним утром вышла к домику вохры. Из телогрейки по швам валял пар.

Паулина Степановна освободилась в 46-м. На воле уже год как закончилась большая война. Страна была свободна от внешних врагов, но своим - врагам народа, хоть и отсидевшим - в выезде в родные места было отказано. У нее было пять лет поражения в правах. Устраивались кто как мог. Все-таки надеялись когда-либо выбраться «на материк», а потому селились поближе к Магадану.

С работой тоже было непросто, направляли куда надо, не спрашивая согласия. Паулину Степановну хотели сделать секретарем в больших ремонтных мастерских поселка Ягодное. Ну, казалось бы, чем не место после лесоповала. Однако настолько не уверена была она в том, что сможет составить самую простую деловую записку. Начальник попросил попробовать. Смогла. Но и после того решительно отказалась. Все-таки лагерь не смог заставить ее забыть, что она - женщина. И вот ее задело: как она в грязно-серой юбке, в разбитых чунях, в каком-то подобье малахая с большими ушами будет появляться в чистом кабинете за чистым столом. И выпросилась она в цех нормировщицей, где было холодно, как на улице (чернила застывали), но где не особенно бросалось в глаза, какое она мучело в ужасных чунях. Вскоре вышла замуж. Устроились в поселке Марчекан под самым Магаданом. Кормила ребенка. Ожидала выезда - так хотелось уехать из этих нелюбимых мест.

- Женя Гинзбург еще в зоне удалось устроиться в деткомби-

нат, где были дети осужденных по бытовым статьям. И после освобождения она работала в самом Магадане в детгородке воспитательницей. Отлично проходили подготовленные ею праздники, но администрация не баловала добрым словом, на бывших эвков смотрели как на людей не вполне наших, не совсем надежных.

В это время мы общались часто. Женя ждала мужа, которому еще нужно было сидеть. Связь эта возникла в лагере. Антон Яковлевич был немец, Женя - еврейка, что не помешало им создать замечательную семью. Когда еще Антон Яковлевич не вышел из лагеря, в доме Жени появилась девочка Тоня. Было так. Женя работала в таком детсаде, где детей оставляли на неделю, а к воскресенью забирали. Но эту девочку мать привела и больше за ней не вернулась. И эта худенькая девочка хвостиком ходила за Женей. И однажды, когда Женя одевалась и уходила домой, девочка эта попросила: «Возьмите меня в дом». Вы знаете, когда Женю арестовали, ее сыну - Васе Аксенову - тоже было три года. И она это вспомнила и взяла ее с собой. И когда подошло следующее воскресенье, эта девочка уже одела на себя все, что нужно, и в передней ждала, чтобы снова идти в дом. И она вошла в этот дом. Женя дала ей образование. Сейчас она актриса, играет в Минске первые роли...

После смерти Сталина людей начали поменьше отпускать. До нас очередь дошла в 55-м году. Неудачная была весна, долгая непогода, самолеты не летали. Мы никак не могли купить билет. Было много народу, много военных в чинах. Кассир кричал всем: «Билетов нет!». И вдруг он, немолодой человек, подмигнул моему мужу, подойди, мол, попозже.

Когда публика рассеялась, муж подошел. Мы были одеты в телогрейки. Кассир сказал: «Давайте деньги. Я же вижу - свой брат, заключенный». Вот так мы получили билеты вперед генералов. И таким образом проявлялось это братство, это понимание общей судьбы.

На материк-то они выбрались, но гулаговская паутина цеплялась, не отпускала. Ознакомились с пресловутым перечнем 39 городов, где нельзя проживать. Выбрали Нальчик, но хлопотали о прописке в Москве, потому что муж был москвич. В конце концов удалось получить место в коммуналке. Когда Женя - Евгения Семеновна - поселилась во Львове и приезжала в Москву, собирались все, кто мог. Сохранялась та самая дружба.

- Прописку Жене долго не давали. И только, когда умер Антон Яковлевич, разрешили ей выкупить однокомнатную кооперативную. Кстати, разрешение на московскую прописку совпало у нее с непростой ситуацией.

В 60-е она написала повесть, хронику времен культа личности «Крутой маршрут» и отдала ее в «Юность». Борис Полевой был в восторге, обещал непременно напечатать. Но не смог. Рукопись застряла в «Юности» года на полтора, потом вдруг в Италии появляется книга. Женю тогда вызывали и в ЦК комсомола, и в ЦК партии, стыдили: «Что ж вы наделали, так нельзя». Евгения Семеновна им отвечала, что рукописи никому не передавала. Полевой просил ее печатно выразить негодование, отречение. Женя категорически отказалась. И вот в эту пору я предложила ей поехать по Волге отдохнуть. В пути нас настигло известие, что Жене разрешают жить в Москве. Так это странно совпало. И тогда уж мы встречались часто, тогда я познакомилась с Домбровским, его женой Кларой, и Женя была среди нас. Очень ее все любили. Она была как солнечный лучик.

Женя умерла утром 25 мая 1977 года. Я была у нее накануне смерти. А Вася там дежурил ночь. Он и был с ней в последние минуты. О том, что у нее рак, она догадывалась, но не обращалась к врачам, полагая, что нечего людей беспокоить, если болезнь неизлечима. Потом пришлось все-таки отправиться в больницу, принять облучение... По-настоящему она лежала, может быть, только последний месяц. А так каждое утро вставала, умывалась, правда, медленно.

А за полгода до своей смерти она умудрилась съездить во Францию. Не одна, конечно. С Васей. Ему дали командировку от «Литгазеты». Ей устроили удивительные встречи, она выступала и говорила на французском языке. Вася рассказывал, что она смущалась за свой французский, но совершенно напрасно, ей сказали, что это просто кокетство. Вернулась она оттуда исхудавшей, с каким-то серым лицом. Наедине мне сказала: «Пава, я очень сдаю». У нее случился там приступ с ногой. Думала, что ходить не сможет. Но врач снял боль. И они без особого разрешения пересекли границу с Италией, ходили по музеям, она не хотела терять ни единого часа.

В тот день, когда умерла Женя, был проливной дождь. Страшно было за дверь выходить. У нее было желание, чтобы ее похоро-

нили в землю. Она не хотела, чтобы сжигали. Была музыка, грустная музыка играла все время. Наши колымчане стояли небольшой группой. Я хочу сказать: я не плакала, и вообще мы там не плакали, не люблю расслабляться, но здесь я не могла, меня просто душили слезы. Такая это была для меня потеря. Положили ее в гроб, как она просила - в туфлях, не в тапочках. Как педагог она привыкла всегда быть в форме, быть подтянутой...

Рассказывала мне это Паулина Степановна в квартире своей подруги Анны Львовны, тоже бывшей заключенной, тоже из того братства. И вдруг я отметил, что говорим мы в годовщину смерти Евгении Семеновны - 25 мая.

С Васей - Василием Павловичем Аксеновым - увиделась она после того не скоро. Но при обстоятельствах довольно любопытных. После премьеры в «Современнике» спектакля «Крутой маршрут» Аксенов поднялся на сцену поздравить артистов, узнал в этой толпе Паулину Степановну и нежно поцеловал.

А как она оказалась среди актеров? Это та самая любопытная история. Как-то ей позвонили из «Современника», попросили выступить консультантом по бытовой части. Кто-то подсказал, что она еще с лагеря дружила с Гинабург.

Режиссер Галина Волчек хотела воспроизвести обстановку Бутырской тюрьмы. Паулина Степановна сказала, что была на Лубянке. Но к следующей репетиции привела двух подруг, которые сидели в Бутыряках. Они ходили в театр аккуратно, как на работу и добросовестно консультировали.

Однажды Волчек позвонила и попросила приехать срочно. При встрече произошел такой диалог.

- Одна наша актриса сломала ногу и на спектакль явиться не может, - сообщила Галина Борисовна.

- И что же?

- Вы будете играть.

- Ни в коем случае. Вы что, хотите, чтобы я вам все испортила?

- Все будет хорошо. Идите на сцену.

Режиссер придумала для нее эпизод. Ее вызывают: «Мясникова, с вещами на выход!». Она прощается с товарищами. Идет со своей торбочкой. Идет и думает, куда повезут и что будет дальше.

На этой репетиции она сыграла так, что всем сразу понравилась. Так и вошла в театр. И поехала с театром в Америку.

Правда, окончательно поверила в это, только когда ступила на американскую землю. Там в интервью она сказала, что это - подарок судьбы. Кроме интервью, подошли к ней с деловым предложением прочесть сценарий будущего американского фильма по «Крутому маршруту» и тоже проконсультировать на съемках. Она отказалась, когда узнала, что в нем не будет занято ни одного российского актера. Сыграть могут только русские. Таково ее непреклонное мнение. Ведь сам Аксенов говорил, что голос Марины Нееловой в спектакле абсолютно напоминает ему голос матери.

А я вспоминаю из рассказов Паулины Степановны, как после ареста в Казани она и ее спутницы года три не видели себя в зеркале. И когда на этапе в Свердловске в бане увидели, Женя Гинзбург сказала про свое отражение: «Это моя мама».

... Она рассказывает мне еще о многом другом, но одна тема снова возникает в разговоре.

- В избытке было голода, холода, оскорбления человеческого достоинства. Помню, когда просили мы перевести нас к своим товарищам, начальница лагеря Циммерман говорила: «Какие могут быть у вас товарищи!» А ведь только товарищество и помогло нам выжить, спастись. Сейчас многие из нас, конечно, уже ушли, но с теми, кто остался, мы - до конца товарищи. И я их люблю, и я всегда им рада.

Москва - Томск.

*«Томский вестник»,
20 августа 1993 года.*

ГЛОТОК СВОБОДЫ



В один из томских дней А. Солженицын побывал у Камня Скорби. Когда его провожали и машине, какое-то время мы шли рядом. И я сказал Александру Исаевичу, указывая на тасуровские колонны: «А знаете, вот в этом здании в восемьдесят втором ваше имя прозвучало на тысячную аудиторию не в обойме с ругательствами, а совершенно положительно».

Александр Исаевич приподнял брови: «И как же это?».

Я воспроизвел ему эпизод выступления В. Астафьева (о чем будет рассказано ниже). Солженицын от души рассмеялся (я бы даже сказал, расхохотался), с удовольствием повторяя: «Это Виктор Петрович мог, это он мог!».

Я подумал, что жизнь все расставила по своим местам, по справедливости.

Было начало ноября 82-го года. В Томск приехал Виктор Астафьев, в первый вечер пришел в актовый зал ТИАСУРа, чтобы встретиться со студентами томских вузов.

Он поднялся на сцену под аплодисменты полного зала. Я отметил его обычность, хорошее русское умное лицо.

- Спасибо вам за приглашение, - сказал он собравшимся. И добавил странно, чуть лукаво:

- А то меня уже мало куда приглашают, в Новосибирск, скажем, не зовут.

Этот лукавый намек стал понятен часом позже. А поначалу Виктор Петрович попросил разрешения общаться с народом, сидя за столом. Э.Бурмакин сказал несколько уважительных и теплых слов, поблагодарил в свою очередь за приезд и предложил начать встречу. Когда-то Есенин, заканчивая краткую автобиографию, заметил: «Что касается других сведений, они - в моих стихах». Наверное, и биографию Астафьева можно проследить, читая «Последний поклон», другую его прозу. Потому события своей жизни обозначил он конспективно, остановился на том, как начал писать,

кто помогал ему встать на ноги, как определялись его тема, манера. Повествовал он с некоторой грустной интонацией, вообще присущей воспоминаниям. Затем стал отвечать на записки. Во время рассказа их уже передали немало, Эдуард Владимирович расправлял их и укладывал перед писателем. Были какие-то нормальные вопросы и обычные ответы.

Наконец произошло следующее. Виктор Петрович огласил очередную бумажку:

- Скажите, кого из современников вы назвали бы великим?

На минуту задумался, потом оговорился, что выскажет суждение только о людях близкой ему области - литературы.

И высказал:

- На мой взгляд, сегодня в мире два великих писателя - Колумбиус Маркес и наш Александр Исаевич Солженицын.

В напряженной тишине кто-то из зала поднялся и передал еще одну записку. Астафьев прочел:

- А наш профессор говорит, что Солженицын - изменник Родины и давно деградировал как писатель.

Виктор Петрович пожал плечами и простодушно заметил:

- Скажите вашему профессору, что он дурак.

Теперь по некоторым рядам пробежал ропот, прошло какое-то движение. Ведущий рядом с оживленным гостем выглядел совершенно убитым. И еще записка легла на стол Астафьева. Суть была такова: какой же это великий писатель, где его человеколюбие, если он в своем Вермонте обнес дом и парк забором и через телекамеру наблюдает, кто пришел, можно ли пустить.

Виктор Петрович сокрушенно развел руками:

- Эх, мне бы такой забор с телекамерой, а то иногда праздный народец одолает - спасу нет.

- Но он же покинул Родину?! Уехал! - крикнул кто-то из первых рядов.

- А по-моему, - парировал Астафьев, - даже в наших газетах писали, что Александр Исаевич не уехал, а был выслан.

Оппоненты из зала то ли растерялись, то ли были остановлены своим начальником, но тема на этом закрылась. Виктор Петрович продолжал отвечать на другие вопросы так же спокойно и свободно, и эта внутренняя свобода на меня, например, оказала и такое воздействие - стало легче дышать.

Замечательно то, что эти «скандальные» пассажи не были са-

модельны. Астафьев просто говорил то, что думал. Обо всем. Но это был для той поры нонсенс. Он отказался играть по правилам. Он отказался от солидарности с той публикой, которая в ответ на известные льготы и привилегии обрабатывала с возможной искренностью наши мозги.

Отойдя от контузии, зал в завершение встречи проводил гостя долгими аплодисментами.

В коридоре и на лестнице стоял гул от голосов - люди обменивались мнениями. Рядом оказался известный томский писатель и спросил: «Ну и как?». Конечно, я сказал что-то восторженное. Писатель посмотрел на меня мрачно, сказал в своей спокойной, бесстрастной манере:

- Ну-ну... А я вот не разделяю. Мы с тобой, допустим, это поняли. Но вот так, на всех, - однако же слишком. Слишком вызывающе

И помотал головой. Тихо, но укоризненно.

Ах ты, Господи. Ведь у него же, у этого самого, встречаю я нынче в газетной статье ссылку на моральный авторитет - на Солженицына. Что же тогда так потерянно кивал он головою, будто видели мы перед собой тихо помешанного, и оставалось только пожалеть его. Между тем не помешанный был перед нами, а известный советский автор, обласканный различными званиями, подкупленный различными премиями. Нет, не подкупленный, оказывается, а *подкупаемый*. Да только не на того напали! Что же вы, «малые писатели»? Стал ли он для вас примером хоть на день, хоть на час? Да ни на минуту! Тому подтверждение - мой знакомый на лестнице, не самый бесталаный из местной братии.

Неужели я поверю вашим сегодняшним смелым фразам типа «Я тогда уже предполагал...». Да если бы вы предполагали, вы бы из всех сил зарабатывали моральный капитал на сегодня. Не зря же сокурсник (ныне труженик ФСК) сказал при уличной встрече с усмешкой, что кое-кто из томской интеллигенции интересовался, может, на него досье чекисты открывали, может, зафиксировали когда-то сказанное где-то в курилке кое-что антисоветское. Дескать, я когда еще говорил...

Однако продолжу. Программа выступлений и встреч Астафьева была обнародована заранее, и хотя ее, конечно, скомкали и свернули, но именно следующую утреннюю встречу отменить было поздно. В Доме творческих организаций была она запланирована.

Наутро я помчался в областное радио, попросил «Репортер». Понятно, можно было уверенно полагать, что никакой передачи не будет, но знакомая журналистка этого не знала, магнитофон дала. Явившись в зал, я разместился за первым столом, раскрутил шнур микрофона. Приехал Астафьев. Пробираясь к своему месту сквозь густое скопление людей, он сказал (как помнится мне, с той, уже знакомой, лукавиной):

- Это все творческие работники? О, как вас много!

Ныне сопровождающим писателя был человек иного склада - партийный функционер А. Черненко. Он, разумеется, знал о вчерашнем, получил инструкции, жестко вел встречу. Однако Астафьев держался так же свободно, говорил столь же определенно на темы, которые не принято было поднимать (о преступности, бомжах), затрагивал вопросы больные, на которые многие закрывали глаза. Вот - фрагменты:

Меня потрясают благодушие, бестревожность, какая-то способность забываться...

Я понимаю, каждому человеку и обществу хочется выглядеть лучше. Но это, на мой взгляд, совершенно не должно касаться писателя. Писатель - самостоятельно мыслящий человек. Заблуждается, прав или не прав - это не его дело. Он сам себе судья и господин. Он не может об этом молчать. Он должен возвыситься до той правды, на которую он способен...

В обществе и вообще в жизни произошла очень сложная деформация, но мы, как всегда, все, что у нас происходит сложного, признаем задним числом. Будем скрывать до бесконечности, уже нарыв вот-вот прорвет, но будем помалкивать: еще кому-то боязно потерять место из-за этого. Обязательство это, у нас происходит, что до края дойдем, тогда уж - все. Как итанами зацепишься за гвоздь в заборе, тогда уж загнуть его.

Это не может не составлять степени мучения живущего в этом обществе человека. Мне дорог мой народ, мое Отечество. Все, что у него болит, болит и у меня. Но у меня болит еще, кроме всего прочего, когда врут. Когда врут бесконечно. Это уже привычный климат Лжи.

Я думаю, что общество, которое столько пролило крови, столько страдало, достойно уважения правдой...

Много людей на встречах спрашивают у меня, как дальше жить, чем жить. И я думаю: почему именно у меня? Может быть, потому, что я дотронулся до каких-то болевых точек жизни. Только дотронулся, конечно...

В сентябре 82-го (за два месяца до Астафьева) в Томске прошел суд над тремя читателями и распространителями антисоветчины. Суд был открытый, власть показывала свои возможности тем, кто пока еще сидел отдельно от подсудимых. Совсем незадолго до этого, в 80-м, нас - некоторую группу - попинали с работ за чтение самиздата. Было мерзко, было печально, но «исправляться» не хотелось. Оставалось... ну, собственно, оставаться самим собой. Не бороться, но и не подличать, не поддерживать этих, не заискивать перед ними. Конечно, мне помогали имена Сахарова, Солженицына, Буковского, Марченко. Но когда вот так - рядом - живой голос... О, это сейчас трудно объяснить, особенно новой публике.

Не раз и не пять в «года глухие», в разных компаниях мы ставили на магнитофон эту пленку и подзаряжались (если это слово еще не скомпрометировано разными чумаками) достоинством, внутренней свободой нашего соседа-сибиряка.

Летом 93-го года, узнав о том, что готовится новое собрание сочинений Виктора Астафьева, я перепечатал выступление перед творческими работниками Томска и отправил ему, приписав, что, может быть, оно найдет место в этом собрании. Ответ пришел через две недели. Истинно астафьевский ответ: «...Думаю, в собрание сочинений включать не стоит - оно не для говорливых тем создается, тем более, что говорильни этой, как я ни упирался, за жизнь накопилось лишка. Желаю доброго здоровья и дел по душе. В. Астафьев, село Овсянка».

Нередко вспоминая Виктора Петровича, я всякий раз желаю доброго здоровья честному человеку и хорошему писателю.

*«Томский вестник»,
4 марта 1995 года.*

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ



Этот материал был подготовлен к печати, по газетным меркам, очень давно - в декабре 88-го года. Мой товарищ Станислав Божко предложил навестить в Парабели отбывающего ссылку человека. К той поре официально было признано наличие в стране политических заключенных. Лев Григорьевич ЛУКЪЯНЕНКО относился к их числу.

Редактор выписала мне командировку, мы определились, что интонация повествования должна быть достаточно нейтральной. Никакой солидарности, никаких выражений симпатии. Просто человеку, пострадавшему за свои убеждения, мы даем наконец возможность эти убеждения беспрепятственно высказать.

Встреча с Лукьяненко произвела на меня сильное впечатление. Лев Григорьевич вызвал и уважение, и симпатию. Однако редакторские пожелания я выполнил, как мне казалось, вполне.

И вот тут с материалом началась морока, какая-то закулисная игра. Некто откуда-то требовал каких-то уточнений. Кто-то позвонил, сообщая о кровожадности Лукьяненко. Другой кто-то намекал на его непорядочность в истории с покупкой парабельского дома. Хотя эту-то историю я знал досконально: дом купили на добровольные пожертвования томичей. Кампанию по сбору средств организовал тот же Божко, и давали деньги, помню, самые разные люди самых различных взглядов, которых объединило одно - желание помочь человеку в беде.

Между тем, Лукьяненко был помилован, получил разрешение выехать в родные края. И проследовал туда через Томск. В университетской аудитории была встреча со Львом Григорьевичем. Он покорила народ своей манерой - сдержанность, скромность и в то же время спокойная уверенность в правоте выбора. Ему устроили оваацию.

Потом мы стали встречать имя Лукьяненко в центральной прессе. Лев Григорьевич (или Левко, как стали его величать по-украински) занял свое место в народном движении «Рух», став там одним из лидеров. Его кандидатура выдвигалась и на пост Председателя Верховного Совета Украинской ССР. Наконец, сегодня Л. Г. Лукьяненко - депутат Верховного Совета УССР - стал председателем Украинской республиканской партии, созданной в апреле нынешнего года. Выход Украины из состава СССР, создание независимой республики - эта задача заявлена в программе партии. И мир не перевернулся от этого заявления. Число членов партии подбирается к трем тысячам человек. Несогласных с программой Лукьяненко, может быть, гораздо больше. Время рассудит. Главное, что мы сегодня имеем возможность выслушать и тех, и других.

Мы сидим в просторном доме на окраине Парабели. Места много, но довольно прохладно - дом безнадежно стар. Однако Лукьяненко рад и такому жилищу. До этого жизнь 63-летнего человека протекала в иных условиях: койка в вахтовом общежитии отдаленного поселка Березовка, работа на погрузке леса, которая закончилась сердечным приступом.

Я знаю, что до ссылки у собеседника моего были две судимости, два срока - пятнадцать, а затем десять лет лагерей. Я ожидал увидеть мрачного необщительного человека в ошибся. У него спокойное мягкое выражение лица, внимательные глаза. Довершают облик седые вислые запорожские усы. Манера общения самая доброжелательная. И это при редкой убежденности в своей правоте. Откуда эта убежденность?

Как она рождалась и вызревала? Лукьяненко рассказывает так:

- Родился я в крестьянской семье. Отец и мать работали в колхозе. Я видел, как трудно они работают и как мало дает эта работа. Нас было четверо детей, которых отец и мать едва могли прокормить. Я видел, что земля наша вокруг села хорошая, плодородная - это Черниговская область. И урожай хороший, а хлеба нету. И я думал, почему так: земля родит, а люди живут бедно. Голод 33-го помню отрывочно. Отец тогда закопал немного картошки во дворе. Утрамбовал это место. Но она померзла и погни-

Однако весной мы ее перебирали и ели. Тем и спаслись. 10 лет позже я узнал, что голод унес миллионы жизней моих земляков.

Ближе к 37-му помню: утром люди пойдут по воде, разговаривать нечего и за что взяли. А позже стали арестовывать людей по какой-то причине. Это поселяло ужас. За что? Вспоминали: «О, кажется, анекдот рассказал. Людей обнимал страх. Каждого в чем-то обвинить».

Влияла на мое мировоззрение и такая картина: я видел, как сносили мельницу. Она стояла, ее уничтожили. Почему? Так стереть старое, которое произрастает из капитализма. Меня интересовало: зачем уничтожать вещи. Мельница работала для всего народа, хотя, наверное, хозяева что-то на этом имели. Но она-то, короче, ни в чем не виновата. Я не видел разумности в этом уничтожении. Зачем строить новое, когда есть старое? Людей это интересовало, и я разделяя это возмущение...

После службы в армии Лев Лукьяненко поступил на юридический факультет университета. Пора студенчества совпала с «оттепелью» 50-х годов, когда «оттаяли» и стали доступны книги, которых раньше не было. Тогда в общезнание много спорилось, обсуждая материалы двадцатого съезда партии. И находились люди, заставляющие задумываться - почему? Почему, например, законы о труде до самых последних лет были книгой для широкого пользования? Как же так? Он регулирует жизнь и судьбу простого человека и спрятан от него. Процесс демократизации начался у Лукьяненко, идет медленно, несправедливости не убывали.

Я исходил из того, что не могу обеспечить себе жизнь, достойную человека, если в обществе нет справедливости, - продолжает Григорьевич. - Я решил, что нужно бороться за такие условия жизни, в которых человек мог бы пользоваться свободой. Это возмущало, что декларация периода революции растоптана. Я мог с этим смириться и решил, что жить, унижаясь, когда не можешь сказать то, что хочешь - это недостойно человека.

Я знал, что тот путь, на который я намерен встать, опасен, что могут покарать, но я знал, что никогда борьба за свободу не бывает легкой, она всегда связана с жертвами, со смертью. Это меня не пугало. Еще когда служил в армии, прочел Рылеева: «Я знаю, что ждет того, кто первый восстанет...» Я запомнил эти

слова. Народ не может добиться свободы, если он боится жертв. Я считал, что моя жизнь не представляет такой уж особой ценности, и пошел этим путем.

Слова «свобода», «достоинство» возникают в речи Льва Григорьевича. Но за словами - понятия. Не знаю, часто ли сегодняшнему человеку приходится примерять их к себе, задумываться над тем, где мера личного достоинства и свободы, как сочетается личное и гражданское. Посмотрите правде в глаза: размышляли вы над этими понятиями, в сущности, главными вопросами?

Лукьяненко размышлял. И сделал свой выбор. Выбор, для кого-то неприемлемый и даже предательский в категориях недавнего политического мышления. Он вступил в конфликт с властью, зная о возможных последствиях, но так подсказывало чувство его личного и гражданского достоинства.

- В университете я понял, что у меня две ценности - свобода Украины и демократия. И еще понял, что мой путь - агитация, пропаганда. И когда я написал программу партии, которую намеревался создать, отметил: «Методы достижения нашей цели - мирные, конституционные». Советская власть для меня была не той действительностью, что окружала. Ее образ вырисовывался из провозглашенных прав, в том числе и права на самоопределение.

Приехал на работу в Западную Украину, познакомился с людьми и обстоятельствами. Там не так давно провели коллективизацию, люди приняли это дело плохо, колхозы были для них чужеродны.

Почему вопрос отделения Украины стал со временем для меня главным, тогда как сначала много внимания обращал на демократизацию?

Я как-то понял, что навести порядок в таком огромном государстве, как Советский Союз, просто невозможно. Во время армейской службы бывал в Австрии, Венгрии и видел: государства маленькие, а жизнь обустроена. Неужели у наших людей руки хуже, головы хуже? Ничего подобного, просто порядки хуже. В масштабах огромной страны, я считал, невозможно что-то изменить к лучшему. Потому надо отделиться и навести порядок.

- Значит, вы националист, Лев Григорьевич?

Если представляете националиста бородачом с обрезом или автоматом, то, конечно, нет. Путь террора я отрицаю как безрезультатный и бесчеловечный. Если же вы признаете конституционное право на самоопределение, то считайте, что я националист. Само

собой разумелось, что и такие крамольные мысли надо прятать. И я понимал, что с точки зрения существующего закона это преступление, но свободу я начал любить очень сильно и решил, что пойду на этот риск. Я знал, что буду отвечать, когда создавал партию и писал программу. Вопрос был только в том, что со мной сделают...

Мы тоже бываем иногда не согласны со своим государством. В утешение нам оставлено право на внутреннюю независимость. Много это или мало, зависит от самоуважения. Если захочешь, можно оправдать нежелание обнародовать свои мысли солидарностью с государством, так сказать, по большому счету.

Перед лицом внешнего враждебного окружения, например. Может быть, это даже будет искренне для тех, кто верит в это страшное окружение. Может быть, компромиссно. Во всяком случае, в согласии жить проще и спокойней. Но всегда были, есть, и видимо, будут люди, которые открыто высказывают свое несогласие. И готовы заплатить за возможность это сделать.

- В 61-ом году я был арестован, меня судили как изменника родины и приговорили к расстрелу. Верховный суд СССР заменил наказание 15 годами лишения свободы с отбыванием в лагерях особого режима. Направили в лагерь в Мордовию.

Там находилось около двух тысяч человек. Были власовцы, бывшие полицей, другие люди. Тут началась моя жизнь заключенного. Тут я увидел будто другой мир и меня поразило, что устроен он так же основательно, надолго, как и тот, что остался за воротами зоны.

Тут была неплохая литература. В зоне я имел возможность основательней изучить историю - прочитал Ключевского, Соловьева, философскую литературу (не в больших количествах, но интересную), прочел социологические работы Питирима Сорокина. В зоне увидел живых участников освободительного движения. Постоянные встречи, впечатления из разных мест позволяли составить мнение о жизни людей разных национальностей. Я понял, что ярлык «буржуазное движение, враждебное народу» не соответствует истине. Это были простые люди, и руководили ими насущные интересы.

Потом последовало наказание за нарушение режима. Дело было так. В 68-ом году привезли новую генерацию заключенных - эти люди боролись по-новому: не подпольно, а открыто за свою культуру, литературу, язык. Они привезли открыто связи с загра-

ницей, так называемый самиздат. Вдруг стало понятно, что лагерная действительность представляет интерес для общества. Я написал для самиздата статью, потом другую, это расценили как агитацию и отправили на три года во Владимирскую тюрьму. Она используется, чтобы сломить тех, кто не сломался в лагерях...

Когда приходили новые люди, мы понимали, что борьба продолжается, и это поддерживало силы. Правда, те, кто боролся с оружием, смотрели на нас как на болтунов: «Что вы можете сделать словами?» Но мы верили, что слово тоже сила.

По отбытии срока Лукьяненко вернулся на Украину, устроился в родном Чернигове электриком в областную детскую больницу (по специальности работать не брали). И опять стал задавать себе вопросы. Почему в городе только три украинских школы и всего одна белорусская? Почему Ивана Сокульского, который учился в Днепропетровском университете, преследовали за то, что он все время разговаривает по-украински? Признать это справедливым?

Нет у нас культуры и опыта в обсуждении такой деликатной темы. Проще всего прикинуться интернационалистом. А национальная гордость и достоинство - мы почему-то привыкли применять эти понятия к народам Африки или, скажем, Латинской Америки. Но проблема есть и у нас. Сегодня фактов национальной несправедливости пресса называет немало. Но тогда, в годы застоя, защита национальных свобод была занятием неблагодарным и опасным. И, однако, находились люди, готовые связать с этим судьбу.

В эти годы параллельно с московской была создана украинская группа содействия выполнению хельсинкских соглашений.

- Инициатор - Микола Руденко - предложил мне войти в эту группу. Я согласился. Первоначально нас было пять человек. 9 ноября 1976 года объявили о создании группы. В своей декларации мы ссылались на заключительный акт хельсинкского совещания, то есть, по сути, мы создали общественную организацию, контролирующую выполнение гуманитарных обязательств, взятых на себя нашим государством. Мы сознавали, что подписанные документы одно, а практика - другое дело. Но мы хотели реально пользоваться теми свободами, которые провозглашены. Мы встали на путь риска, потому что понимали: что для власти есть элемент политической игры. Для нас - дело жизни. Сначала нас вызывали, угрожали, но не сажали. Потом, когда власти увидели, что движе-

ние становится популярным в кругах интеллигенции, решили поступить как обычно. В конце 77-го меня арестовали. Приговор: 10 лет заключения и 5 - ссылки.

Потянулись годы «за колючкой». Но жила вера, что вечно так продолжаться не может. Мы не знали, что начнется в стране перестройка и когда она начнется. Но мы видели возрастание демократии в мире и считали, что Советский Союз не останется в стороне. Реально мы почувствовали новую политику не сразу с приходом М. Горбачева на пост Генерального секретаря, а несколько позже. И вот каким образом. До Горбачева смерть заключенного никак не отражалась на положении лагерного начальства. Но когда 4 сентября 1985 года в зоне умер украинский поэт Василь Стус, с начальником лагеря случилась большая неприятность. Мы поняли, что такие факты стали нежелательными.

Я считаю, что перемены, которые сейчас происходят, это, конечно, результат доброй воли Горбачева, но не только. Они приближены усилиями оппозиции 60-х, 70-х годов, к которой принадлежу и я...

Такова история политссыльного Лукьяненко. Я не ставил задачей развенчать или поддержать высказанные им соображения. Вы сможете это сделать сами. Мне же хотелось просто представить вам человека, избравшего свой особый путь в этой жизни, человека особого склада и мировоззрения. И материал этот, думаю, представит интерес хотя бы потому, что о людях, связавших себя с неформальным движением 60-70-х годов, мы еще не писали.

Парабель -Томск. Декабрь 1988 г.

*«Молодой ленинец»,
24 августа 1990 г.*

Я ОТВЕЧАЮ ЗА СЕБЯ

«Три Владимира учились на ИФФ (историко-филологический факультет - авт.) два с половиной года. Одному из них - Владимиру Крамаренко - недавно пришлось пересест с университетской скамьи на скамью подсудимых: он совершил уголовное преступление. Не тишина научной библиотеки, не огни аудитории тянули посвященного в сан студента. Он был связан с пьяницами и развратниками. Это привело к тому, что Крамаренко морально разложился и запел с чужого голоса, объективно оказался на чуждых идейных позициях».

Читатель! Если тебя заинтриговало такое вступление, прошу следовать за мной. Обещаю, что, как завещал великий Чехов, это ружье обязательно выстрелит. Детективного в нашей истории будет мало, хотя не без того. Хочу предложить вполне безыскусную историю. А попутно показать, как творятся мифы или как легко и безнаказанно можно было творить их в недавнюю пору (в нашем случае - 20 лет назад).

Известие о братской помощи Чехословакии застало меня в августе 68-го в гостях у дяди Глеба, накануне отъезда домой.

- Ну, будет заваруха! - оказал я дяде, подразумевая партизанскую войну, долгое сопротивление.

- Да ничего не будет! - отвечал более здравомыслящий Глеб Васильевич. - Все сделают как надо.

И правда, пока я добрался от Ачинска до Томска, братский народ уже успокоили. Однако разговоры, конечно, шли вовсю. Я работал с ребятами-физиками. Мы устранили в дверях главного корпуса теплую вентиляцию. Технари отстаивали повешенную нам на уши официальную лапшу, что если бы не мы, то вошли бы западные немцы или американцы и тогда социализму - труба. Мы - гуманитарии (нас было явно меньшинство) что-то говорили о демократии, о «пражской весне», о статьях в их студенческих журналах. Мы цитировали им «Две тысячи слов» - замечательный документ человеческого и гражданского достоинства.

- Откуда вы взяли? - наседали технари.

Мы несколько сникали. Назвать попросту, как источники, Би-би-си или «Голос Америки» было не очень удобно.

Однажды из деканата меня известили, что в такой-то день в таком-то часу я должен стоять у ворот университета и встречать человека, который сам меня опознает. «Забавно», - подумалось мне тогда.

Человек был, как помню, в кремовом плаще. На лице его лежала легкая, что называется, располагающая улыбка. Прошли какие-то полста метров, сели в машину, и вот мы в уютном кабинете на Кирова, 18. Человек ненавязчиво поспрашивал меня, о чем говорит студенчество, как оценивает положение в Чехословакии, каковы собственные мои об этом соображения, чего мне в принципе недостает в нашей духовной жизни. Я отвечал ему, что вторжение воспринимают по-разному, сам я не определился, а в духовной жизни мне явно недостает изданий Пастернака. Он тут же припомнил слово «вторжение», справедливо заметив, что этим кое-что сказано, но опять мягко улыбнулся, уверил, что в будущем году выйдет собрание Бориса Пастернака. Собеседник взял с меня обещание, что я не буду распространяться о встрече в КГБ. Видимо, чехословацкая тема покоя им не давала, какую-то профилактику надо было провести.

Недели через две утром меня разбудило прикосновение незнакомой руки. Спокойный голос спросил: «Владимир Михайлович, вставайте. У меня ордер на обыск». Мне не пришло в голову ничего лучшего, чем нелепо пошутить. Я сунул руку под подушку и сказал: «А пистолет вы уже взяли». Капитан рассмеялся просто, по-человечески. Не убоюсь гнева непримиримых и скажу, что он остался у меня в памяти приятным и порядочным человеком. Как уж занесло его на службу в КГБ, мне неизвестно.

Однако, обыск. Явление неприятное. Его величали мягче - досмотром, но суть от того не меняется. Чужие руки шарят в твоих бумагах, чужие глаза вычитывают строки, которых не доверял пока и самому близкому. Капитану помогали двое студентов-оперативников из ТИАСУРа. Они подивили меня дотошностью и прямо какой-то неистовой добросовестностью.

В результате сложили в портфель несколько журналов «Куба» с порезанными страницами, самодельные плакаты типа «Пей виски!», которые мы использовали в нашем любительском фильме

про ковбоев. Забрали и меня с собой. В кабинете КГБ все окончательно прояснилось, хотя я кое о чем догадался, когда забрала порезанную «Кубу». Слова или буквы заголовков оттуда мой товарищ Крамаренко использовал в оформлении своего рукописного издания.

Ну да, собственно, это издание и разожгло весь нелепый сырбор, так что нужно о нем сказать. Володе с несомненным даром оформителя куда-то хотелось приложить свои силы. Вот и появился журнал с нетрадиционным таким названием «Белые тени». Издателем значился Вольдемар Крамер - так на западный манер повеличал себя Владимир. Гвоздем номера был фрагмент стенограммы суда над А. Синявским и Ю. Даниэлем. Володя записал ее на магнитофон с передачи Би-би-си. В конце номера броско, с размахом было представлено расписание работы этой радиостанции. Информация о предполагаемом нахождении нациста Бормана в Южной Америке проходила под заголовком «Жив курилка!». Этим, пожалуй, криминал исчерпывался. Наши гуманитарные этажи листали произведение Крамера. Разные оно вызывало чувства, но никому не пришло в голову настучать. Прodelал это какой-то политехник.

...К вечеру я был дома, а вот Володя домой не вернулся. «Задержан, арестован» - какие зловещие слова. И за что? Неужели за это? Ну, понятно, хулиганство, разбой, воровство. Нет, оказывается, и здесь тоже есть повод. И для этого есть статья. Под нее хотят подогнать Володю. И арест лишь преддверие суда, на котором будет оглашен приговор и определена мера наказания.

(Здесь, собственно, и звучит первая фраза моего повествования. Она взята в кавычки. Да, это цитата из статьи «Я отвечаю за все...», напечатанной в областной партийной газете 17 января 1969 года. Автор ее - В.Ф.Брындина).

Из тех знакомых Володи, кто остался на свободе, особо грозные тучи зависли надо мной и сокурсником Володей Лосевым. Понятно, почему. Мы - трое - были дружны, часто бывали у Крамера дома, хорошо знали, чем он занимается.

Вот так это излагалось в «Красном знамени»:

«Ну а два его товарища-сокурсника - Владимир Лосев и Владимир Крюков? Они знали, чем занят друг, самовольно взявший на себя обязанности редактора и автора рукописного журнала. Они читали плоды «литературной» стряпни Крамаренко - мешанину

порнографии, недомыслия и клеветы, заимствованной из передач Би-би-си и «Голоса Америки». Два студента могли остановить третьего, но не сделали этого. Хотя уголовное преследование в отношении Лосева и Крюкова прекращено (они проходили по делу Крамаренко лишь как свидетели), моральная вина и гражданская незрелость этих двоих доказаны вполне».

Оставляю на совести автора хлесткую характеристику, припечатывшую людей, с которыми она даже и не разговаривала.

На допросах от нас добивались какого-то осуждения и покаяния. Осуждения «деяний» Крамаренко и покаяния, что не наступали в комитет ВЛКСМ, профком, деканат, органы. Хочу избежать громких слов, но есть же человеческие заповеди порядочности. Ну вот никто не внушал мне, что нехорошо доносить, что довольно гнусно навязывать свои убеждения другому и что нет ничего постыдного, если твое мнение не совпадает с мнением большинства. Но именно эти моменты и обернулись против нас. Слава богу, несмотря на всю нашу инфантильность и некоторый страх, внушенный органами, нам не пришлось в голову каяться и наговаривать на себя. Мы признали знакомство с творениями товарища, но никак не хотели величать их антисоветскими, состоящими из клеветнических измышлений. Нас спрашивали, знакомы ли мы с таким страшным кощунством, как соединение на звуковой пластинке фрагментов речи Ленина и интермедии Райкина. Знакомы. Смешно. Может быть, несколько рискованно.

- И все?! - спрашивали нас. - И все?!

Короче, становилось ясно, что не на том факультете учимся, что нам недостает политической зоркости. Где-то накануне Нового года состоялся суд - Володе Крамаренко дали полтора года ссылки. Было понятно, что по-своему обречены и мы. Близился финал нашей университетской жизни. Правда, каким он будет, мы не ведали. Наконец прояснилось: предстоит факультетское собрание.

Задумано было целое шоу, как бы теперь сказали. И так: выразить нам общественное презрение, дать урок еще кое-кому, подтвердить верность идее и непримиримость к инакомыслию. К счастью, замыслам не дано было осуществиться. Все-таки наше поколение и те, кто был постарше, еще успели глотнуть свободы. Еще пел Галич, редактировал «Новый мир» Твардовский, еще не упрятали в спецфонд «Реализм без берегов» Роже Гароди, и некоторые преподаватели называли Солженицына большим писателем.

Еще до суда над Володиной в общежитии организовали сбор подписей в его защиту, и подписали все, кто знал его или хотя бы вник в ситуацию. Так что устроители просчитались.

Здесь, напротив, хочется говорить высоким стилем. Собрание это - одно из светлых воспоминаний в жизни. Не люблю толпу, ее легко наэлектризовать или попросту науськать, на что, видимо, и уповали. Но пришла не толпа, пришли люди, которые не собирались быть чьими-то подголосками.

Аудитория амфитеатром была полна народу. Не помню, кто уж там обрисовал картину нашего падения, атрофию бдительности и полную деградацию. Вышло двое-трое подставных комсомольско-профсоюзного толка. Осудили. Предложено было высказаться желающим. Вот тут и началось то, чего никогда не забыть. Выходили ребята, которые нас знали и говорили то, что думают и о нашей истории и об этом спектакле.

Не забуду взволнованного голоса Толи Леминского, страстного выступления Бори Соколова. Тут-то устроители засуетились, вспомнили о регламенте, стали кричать (как раз на Борином монологе):

- Хватит! Время!

И вдруг аудитория отозвалась сотнями голосов:

- Пусть говорит!

Через минуту Борю уже за руку оттаскивали в сторону. Вышел еще кто-то из ставленников, его сразу раскусили, и как лавина с гор покатила - это сотни ног забарабанили по доскам аудитории. Говорить невозможно, остановить ужасный стукоток тоже - кто там молотит ногами, не видно. И это не было безудержной забавой. Нет, каждого выступающего начинали слушать, и быстро становилось ясно, где человек, а где функционер. Помнятся говорящие фамилии этих: от партии - Корокотина, от комсомола - Кряклина. Но их слова буквально забивали. Это был крах для организаторов, это была победа здравого смысла. Никаких резолюций не удалось протащить, никаких оргвыводов. Помню в коридоре растерянное лицо нашего декана Бориса Георгиевича Могильницкого, вынужденного присутствовать на этой комедии. Он просидел все собрание молча и этим сохранил студенческое уважение.

А так подытожила собрание автор статьи в «Красном знамени»:

«...разлетелся в прах тезис о «тонкой поэтической натуре» Крюкова, о том, что Лосев тоже «личность мыслящая». Видно,

фразы эти бросил желающий уберечь их от законного гнева товарищей.

...И такие люди жили среди нас, готовились стать литераторами, учить детей! - с горечью констатировали комсомольцы. С некоторым опозданием, но в полный голос прозвучали слова: «Я отвечаю за все». Эта фраза - синтез коллективизма и высокого назначения личности...»

В этом пассаже, написанном с пафосом, нет правды. Не было законного гнева товарищей, не звучало на собрании и одинокой фразы «Я отвечаю за все» (по крайней мере, никто не смог ее припомнить после газетной публикации).

Триумф наш, конечно, был кратковременным. Провели собрание и в учебной группе. Наши девчухи искренне - под контролем Веры Михайловны Яценко - покрыли нас позором, вынесли решение: просить об исключении из вуза и комсомола. Сделалось им немного обидно, когда узнали, что исключить меня из рядов ВЛКСМ нельзя, поскольку я в них не стоял вовсе. Однако стены университета мы оставили, ознакомившись с приказом, замечательная формулировка которого незабываема: «За поведение, порочащее достоинство советского студента».

Декан проводил нас тепло и дал понять, что путь обратно не заказан. Через полтора года я вернулся, представив положительную характеристику из сельской восьмилетки, и благополучно доучился, защитив у той же Веры Михайловны на отлично свой диплом. Володя Лосев завершил образование в Кемерове. Володя Крамаренко, отбыв свою ссылку в енисейских краях, тоже закончил наш филологический.

Дальнейшая жизнь их потекла в иных местах, а мне не хотелось покидать любимый город. Пришлось через это претерпеть. Кто только не припоминал мне пресловутое исключение. Шли годы, но никакой срок давности на меня не распространялся. Идеологический глаз, не моргая, держал меня в поле зрения. Публикации в областных газетах проходили непременно под псевдонимом.

Однажды взяли было в «Молодой ленинец». На третий день работы редактор сказала, что со мной хотят побеседовать в обкоме. Сели с двух сторон комсомольские лидеры Шуварики и Точенов и после дежурных вопросов перешли к позорному факту биографии:

- Ну, а произойди такое сейчас, как бы вы себя повели?

- Пожалуй, так же, - честно ответил я.

Идеологи оторопели.

- Представьте: человек в беде, просит помощи, вы оказались рядом. Неужели не поможете?

- Почему же, - сказал я, - помогу. Но это уже другой случай. Ваш пример неудачен.

Меня отпустили с миром. Наутро редактор печально сказала, что, видимо, не смог я себя повести как надо и в результате - не рекомендован.

Подобные ситуации повторялись. Мне кажется, многие исполнители уже и не знали, в чем там - в днях моей юности - было дело. Осталось клеймо «не нашего» человека да сотворенный по-советски миф.

«Молодой ленинец»,
29 июня 1990 года.

ДОПОЛНЕНИЕ 1999 ГОДА

Когда в то далекое лето я написал вышеприведенную статью, была она несколько больше - хотелось рассказать ВСЕ. Но отведенной газетной площади (кстати, немалой) не хватило. Как ни старались мы тогда с двумя Сергееми - Симоновым и Сердюком -, пришлось чем-то пожертвовать, а именно предысторией ареста Крамера и обыска в моем доме. Сейчас я имею возможность восстановить сокращенный текст.

Я окончил школу в тот самый год, когда московским судом были осуждены к лагерным срокам литераторы Андрей Синявский и Юлий Даниэль. В том же 1966-м поступил на первый курс историко-филологического факультета Томского университета. В одной группе со мной оказался парень из Красноярского края Володя Лосев. Мы с ним довольно быстро сошлись. Нас объединила безудержная любовь к стихам и старому Томску. С началом теплых весенних дней начались наши долгие прогулки по городу. Уставая бродить, мы выбирали скамейку на солнышке, открывали бутылку доброго молдавского портвейна, пили по очереди из горлышка, читали друг другу Кузмина, Мандельштама, Володина - то, что недавно откопали в любимой нашей Научке (Научной библиотеке).

В те годы еще были «физики в почете», и филологов мужского рода пересчитывали по пальцам. Потому скоро мы познакомились с однокурсником Володей Крамаренко, томичом. Володя был, что называется, классический западопоклонник. Он слушал радиоголоса, читал «Америку». После знакомства просил называть себя просто Крамером. Он открыл мне дверь в мир рок-музыки. Лось как-то остался этому чужд, а я навеки пленился битами, впервые услышанными с крамеровской «Кометы».

У него же услышал я с магнитной ленты записанный по трансляции рассказ о судилище над Синявским и Даниэлем. Несколько дней я жил потрясенный мерзкой акцией и ложью наших газет. Как-то в общем разговоре сказал об этом ребятам, и мы решили, что таких оболваненных много, что людям надо знать правду. И вот задумали выпустить листовку и уже соображали, как распространять ее: разбросать на сиденьях в автобусе, в залах кинотеатров. Но прежде надо было ее отпечатать. Техническую сторону дела взяла на себя Крамер.

Договорились встретиться у меня в Тимирязеве, в родительском доме. Мы с Володей Лосевым уехали с ночевой. Утром появился Крамер, но не один - с приятелем. Мы немного удивились, но Володя сказал, что парень свой и ему можно доверять. Этот самый приятель - Игорь Никитинский - нас потом благополучно и заложил.

Разгорался летний день 67-го года. Мы полны были самых благородных помыслов. Крамер устроил какую-то смесь с желатином, разлили ее в мелкую ванночку, поставили в холодильник. Через некоторое время на застывшую поверхность был нанесен текст. Но гектограф не сработал - студень почему-то растаял, первый же лист провалился и напрочь размазал буквы. Тут подошла мать с работы. Пришлось затею оставить. Мы с Лосем взялись читать конспекты (шла летняя сессия), Крамер поехал готовиться домой. Надо сказать, железной последовательностью мы не отличились, попыток создать листовку не возобновили.

Зато в новом учебном году в комнатах общежития появился рукописный журнал с нетрадиционным таким названием «Белые тени»...

ЖЕРТВЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ

В сентябре 82-го в Томском областном суде проходил нерядовой процесс. Обвиняли троих интеллигентных людей: они никого не грабили, не обманывали доверчивых граждан, не присваивали государственных денег или вещей. Они - читали. Правда, один из них - специалист по



Анатолий Алексеевич ЧЕРНЫШЕВ.
70-е годы.

баллистике, начальник Томского филиала Центральной Сибирской научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз А. А. Чернышев - хранил на работе незарегистрированное ружье. Однако главной - и это все понимали - была пресловутая статья 190-«прим» УК РСФСР. Для тех, кто не знает: «Распространение в печатной форме произведений, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй»...

Зал суда заполняли многочисленные знакомые обвиняемых, рядом с ними сидели неприметные ребята - будущие труженики или нештатные помощники КГБ. Нужно было застрашать первых и удовлетворить вторых. Наступательно, жестко играл свою роль прокурор Ю.В. Попырин. (Я все думаю: роль это или естество? Прокурор нынче отказался комментировать и объяснять те события).

Не производил впечатления подневольного и председательствующий - судья А. Н. Вайвод. Творчески подходил к делу. Никто, наверное, не забудет эпизода с художником по фамилии Загубибатько. Художник без всякой корысти, «по дружбе» принёс обвиняемому Чернышеву мед с отцовской пасеки. Судья произвел пересчет килограммов в рубли, чтобы угощение предстало как «расчет натурой».

Итак, судебная коллегия по уголовным делам Томского областного суда установила: «...подсудимые Чернышев А. А. и Ковалевский А. Ф. (заведующий лабораторией НИИ биологии и биофизики при Томском университете. - В.К.) систематически занимались изготовлением и распространением, а Кендель В. М. (в то время препаратор кафедры биологии и генетики Томского медицинского института - В.К.) - распространением в печатной форме произведений и других материалов, содержащих заведомо ложные измышления».

В приговоре обвиняемые обрисованы опасными злоумышленниками. Так например, Ковалевский и Кендель, «убедившись в антисоветской направленности произведений и материалов», знакомят с их содержанием других. Чернышев злобно нарушает Положение о кустарно-ремесленных промыслах, размножая печатную продукцию, часть которой переплетает «с применением специально изготовленных для этой цели кустарных инструментов и приспособлений», а «изготовленные фотонегативы и фотокопии произведений клеветнического характера» хранит в тайниках...

Тогда, в сентябре 82-го, я звал на этот процесс работников комсомольской и партийной газет. Они отказывались. Написать и напечатать правду было нельзя, а раз нельзя напечатать, значит, нечего и время терять. Сам я писать об этом не мог: два года назад за чтение вредной литературы меня отлучили от журналистики.

Это сегодня, когда разрешили, журналистка областной партийной газеты походя разделяется с судьей А. Н. Вайвodom. Она спрашивает его по телефону, что он думает об этом процессе сейчас, и получает ответ: «Мы поступили по закону». Это позволяет ей сделать заключение: «Удобное оправдание, сегодня его принято повторять по любому поводу... А если у застоя были жертвы - значит, были и палачи... Если мы не признаем этого и сегодня, то так и не избавимся от атмосферы демагогии и лжи».

Завидный пафос. Но отдает он той самой демагогией. Ну хорошо, признайте... И что же - изменится атмосфера?

Не нравится мне этот расклад на палачей и жертвы. Люди сохранили живую душу - какие же они жертвы? Вы - жертвы, вы, которые уцелели, промолчали и продолжали лепить в своих комсомольско-партийных газетах про нашу хорошую жизнь. Да и для

тех, судейских, слово «палачи», пожалуй, слишком громкое. Впрочем, это тоже из вашего багажа былой поры - «царские сатрапы», «кровавые палачи» и т. д.

Нет, всё было не так. Жили мы, читая самиздат, конечно, с оглядкой, с опаской. Не рассчитывали на порядочность судьи, на снисходительность прокурора, на сострадание народных заседателей. Они служили государству, а государство было против нас. Мы же знали эту пресловутую 190 «прим» с ее замечательной и страшной формулировкой о заведомо (!) ложных измышлениях, не дающую шансов на объяснение или оправдание.

Я тоже разговаривал с А.Н. Вайвodom, но не по телефону, а в его рабочем кабинете. Немолодой судья заметно волновался. Конечно, он помнит этот процесс. Да, осудили правильно, по закону (после обжалований Верховный суд РСФСР оставил приговор без изменения). Другое дело, что осталось неприятное чувство. Но это уже из других, неюридических категорий.

- Суд - правоприменительный орган, - говорит Антон Норбертович. - Я должен опираться на закон. Если отдаваться своим эмоциям, это уже не суд - произвол.

Судье Вайвodom тогда важно было, чтобы подсудимые признали свою вину и покались. Двое сделали жест в эту сторону. Ему хочется думать: искренне. А я думаю: подыграли, зная, что раскаяние смягчает наказание. Так или иначе, они вызвали у него симпатию. Третий - Чернышев - оставил впечатление запирающегося, ловчили. Между тем в заключительном слове Чернышев был искренен и правдив. А вот во время следствия и судебного разбирательства и вправду пытался запутать судей и кое-что скрыть. Хорошо знакомый с юридической практикой, он понимал, что ему «накручивают» нелепые статьи о незаконном промысле (о перестрелке) и распространении порочащей нашу действительность литературы. И он стал бороться с судом на законных основаниях: я отрицаю, вы доказывайте.

Между тем, в ходе судебного разбирательства ничего неожиданного возникнуть не могло. Все было predetermined. Более того, написав сейчас это слово «разбирательство», я понял его неожиданное значение для этого процесса. Здесь предстояло самому разобраться в самом себе, сделать выбор.

Антон Норбертович привел такое соображение: подсудимые

же понимали, что нарушают закон, знали, на что идут. Чекисты их предупреждали. А они этим предупреждениям внять не захотели.

Отцы Вайвода и Чернышева стали жертвами сталинского террора. Сыновья вынесли из этого разные уроки. Если Анатолию Алексеевичу Чернышеву хотелось понять истоки величайшей трагедии, то Антона Норбертовича устраивали хрущевские объяснения. Ему не нужны были ни «Большой террор», ни «Архипелаг ГУЛАГ». Он вполне оправдывал существование такого понятия, как «идейно вредная литература».

При всем этом он с искренним негодованием говорил о грубо сфабрикованном деле своего отца. Его осудили в 38-м как участника некоего заговора. Доказательствами себя не утруждали. Собрали около 150 заговорщиков из сел Молчановского района. Арестовали их в феврале, расстреляли в мае.

Вайвод листал дело из архива КГБ и диву давался: как это можно было?! Вину своих подсудимых, «врагов народа» 80-х годов, он считал бесспорной в доказанной. А сейчас считает справедливым, что статья 190-«прим» перестала действовать. Но почему же не возражал против нее? Вайвод убежден, что тогда это было бы безрезультатно. Все равно, что прокричать в пустоту.

Итак, он реалист. А мы что же - романтики? Мы-то знали, что нельзя читать Солженицына и Оруэлла, но читали. И Чернышев, сказавший свое заключительное слово, знал, что оно ничего не изменит, а лишь ухудшит его участь.

Но он говорил:

- Достойным финалом всего спектакля будет приговор с уничтожением изъятых у меня произведений. Да, костер из книг явится эффектным зрелищем, но и не менее диким в наше время! В этом костре сгорят знания, труд и, что самое страшное - вера в справедливость и гуманность... Мы же не Иваны, не помнящие родства. Мы должны знать свою историю. Тем более я рассматривал ее недавние страницы и с личным пристрастием... Нельзя за чтение книг сажать человека. Право на заинтересованное отношение к истории своего Отечества, право на свою оценку - естественное право каждого.

И все-таки прокричал он это не в пустоту. В зале сидели те, кто спрашивал себя: «Смогу ли я держаться, как он, а если не смогу, стоит ли что-то крадучись почитать?»

Все-таки мы помним об этом процессе. Потому что Анатолий

Алексеевич Чернышев доказал, что есть *человеческое право* читать все, что написано, и мыслить самостоятельно, и никакое уголовное право отменить его не в силах.

Обратили ли вы внимание, как спокойны и достойны в своих нынешних интервью наши изгон-диссиденты, писатели, выдворенные из страны, правозащитники, вернувшиеся из-за «кололочки»? Им не надо самоутверждаться и оправдываться. Они остались при своих убеждениях, за которые отстрадали и которые сохранили. А для разноплеменного шустрого народа, вынырнувшего нынче а эфир и на страницы прессы, в разные спор-клубы и на митинги, «политическая деятельность» - во многом игра.

Нынешнее газетное пацанье прямо как с цепи сорвалось. Помчались судьи-наблюдатели по задворкам нашего бытия, перетряхивая все, что по пути попадется. Можно куснуть и партию - то ли лев издыхает, то ли притворился, но пока лежит и хвостом не машет. Можно всякие пикантные темы тащить на страницы безбоязненно. И гражданскую позу принять, обличить недавних конформистов и душителей свободы. Все можно! Однако чувствуют, перед кем надо шаркнуть лапкой. Вот молодой сотрудник томской «молодежки» в своем материале решил оградить КГБ от нападков и заявил, что без сексотов комитету никак не прожить: такова, мол, специфика работы. Забавно, что материал был вообще не про КГБ, вывод сделан попутно - видимо, из «гражданских» побуждений. Станным образом это стыкуется с благоразумием тех корреспондентов, когда-то зная не желавших о суде над читателями запрещенной литературы, потому что про это «не напечатают»...

«Сибирская газета»,
№51, декабрь 1991 года.

НАС ВРЕМЯ УЧИЛО

Не очень верю в эту якобы спасительную фразу «У меня не было выбора». Он есть всегда.

Я не склонен преувеличивать значения Дома для моей жизни. Хотя, наверное, спокойное уважительное отношение друг к другу значит немало. Однако вот, казалось бы, человек из близкого окружения — родная сестра — оказалась с годами беспредельно чуждой и чужой. Мать, к сожалению, не имела на меня полноценного влияния. И это не ее вина. В детстве она делала все, что надо — кормила, поила, стирала и гладила мои рубашки. Но на развитие души не повлияла. От отца, думаю, что-то пришло, ну хотя бы, терпимость к людским странностям.

До четвертого класса я прожил с бабушкой и тетей. Бабушка (мать отца) была из алтайских старообрядцев, которые снялись с мест, спасаясь от преследования властей в конце 1920-х, и рассеялись по глубинкам Сибири. Бабушка не умела читать и писать, не умела складно рассказать сказку. Но у нее было другое — доброта. Она знала и любила природу. Мы с ней рыбачили, мы обжигали в печи глиняные фигурки. Летом у нас на улице плескались караси в кадке. То, что я живу в деревне и не мыслю себя в городе — от нее. То, что главными ценностями были и остались Небо, Земля, Вода, Трава — тоже, конечно, от нее.

Я рос в далеком от областного центра селе. Мы никогда не видели трамваев, автобусов, не знали вкуса мороженого, бананов, апельсинов. Помню, как в десятилетнем возрасте поразили меня в Томске афишные тумбы и полотняные козырьки летних киосков. Но школьное воспитание было по всей стране единым. Как и мои ровесники в других местах, я знал наизусть большие куски из михалковской истории про музей Ильича («Мы видим город Петроград в семнадцатом году...»). Ленин был, кстати, самым продолжительным и устойчивым мифом моей жизни. Лишь на рубеже девяностых я переосмыслил для себя эту фигуру. Так что я рос вполне советским, читал нужные книжки, смотрел кино, правильно реагируя на «белых» и «красных», на кулаков и колхозную новь.

Первая «антикоммунистическая» мысль случилась у меня летом в дни школьных каникул. Я перешел тогда в седьмой или восьмой класс. Мы купались тогда на Оби, близ паромной переправы. Мы видели: паром отошел, стал выбираться на стрежень.

Вдруг на берегу появился «газик», вырулил на причальные мостки и лаконично, но уверенно просигналил. И паром изменил маршрут, вернулся, причалил, и машина въехала на палубу.

- Райком, - сказал парень, старший из нас. Сказал с той интонацией, которую потом доводилось узнавать так часто. С неприязнью и одновременно как бы с уважением к силе.

«А чем они лучше других?» — подумал тогда я, воспитанный на демагогии о всеобщем равенстве. И вечером тетя на мой вопрос ответила совершенно по-оружаловски, а именно, что все мы, конечно, равны, но они нас **равнее**. И это не прозвучало для меня убедительно, а потому поселило сомнение в **их праве**. С годами оно окрепло и стало частью мировоззрения.

Все эти нытье повыходившие из партии говорят: знать не знали, ведать не ведали, какое это было преступное сообщество. Не верю этому ни на грош. Если уж я, человек средних интеллектуальных способностей, видел и понимал, то уж они-то, достигшие постов, знали, что к чему. Хотя, если говорить честно, во взятии тех высот ум человеческий вовсе не был главным помощником.

Некоторое время я думал: ну прочему эта система выносит наверх людей не порядочных и недостойных? Что за странная закономерность? Мне она казалась «странной». Потом стало понятно, что это просто закономерность. В райкомах и обкомах брались управлять нашей духовной жизнью те, кому были неведомы Марк Аврелий и Альберт Швейцер с его «благоговением перед жизнью». Может быть, они верили, что человек — мера всех вещей, только вот в их толковании человеком был далеко не каждый, а только люди их круга.

Нас с товарищем выгоняли из университета за то, что мы не «заложили» и не остановили третьего, издававшего рукописный бесцензурный журнал. Так вот, на большом факультетском собрании некая партийная дама Корокотина принародно спросила, есть ли у меня — аморального субъекта — хоть какие-то моральные ценности. Я сказал, что для меня это — человек, просто человек. Как радостно она взвилась! Не забуду этот торжествующий выкрик:

- Да нет же **просто** человека! Вы поймите: это же абстракция, буржуазный гуманизм!

Студенческие университетские годы и сформировали мои жизненные установки.

Я совсем не хочу идеализировать свое поколение. Из него вышла масса приспособленцев: мне кажется, даже больше, чем ДО и больше, чем ПОСЛЕ. Но когда мы учились, было бы просто нелепо услышать, что среди тех, кто срывает шапки с прохожих, оказался студент университета. Была незабываемая мерзость: под Новый год кто-то срубил голубую ель в университетской роще. Потом обнаружилось, что не «кто-то», а наш студент. Его исключили, и никто не заикнулся о суровости наказания.

Был хороший престиж высшего образования. Он достигался без участия фактора материальной заинтересованности. При поддержке журналов и кино был создан привлекательный образ некоего братства, союза. И очень точно студенчество приходилось на особую пору жизни - пору раскрытости души. Потом духовная жизнь притесняется разными обстоятельствами, а вот здесь — от 18 до 25 — все хоть сколько-нибудь готовы расти. В те молодые годы торжествует максимализм. Не зря ему здравые умы придумали извинительный эпитет «юношеский», чтобы он не мешал потом. Может быть, максимализм где-то разводит людей, создает острые углы в отношениях, но и объединяет, скажу я вам, железно...

В сентябре 68-го, когда мы съехались с каникул, главной темой разговоров была, конечно, Чехословакия. «Секли» эти беседы и комсомольские деятели, и чекисты, и добровольные друзья чекистов. Но хорошо помню, что при некотором разном подходе неприятие нашей «интернациональной» вылазки было преобладающим. И это подтвердил такой факт. Нас, гуманитариев, позвали в Дом ученых: дескать, услышите кое-что из первых уст. На сцене сидел какой-то партийный лидер, а рядом офицер — молодой, бравый, с рукой на перевязи. Ну все как надо — прямо с театра военных действий. Он рассказывал, как вошли, как продвигались, как стреляли для остротки. Интонация была снисходительная: что нам, бывалым, какие-то чехи. Говорил легко, накатанно, видимо, не в первый раз.

- И вот на асфальте видим мы надпись «Огромному слону не проглотить ежа». А один из наших, остряк-парень, достал мел и приписал внизу: «А если ежа побрить?».

Вони-герой рассмеялся, сделал паузу, как бы призывая последовать его примеру. Но молчанием ответил наполненный зал Дома ученых. А когда ребята стали задавать вопросы, вонну стало

совсем неуютно. Он понял, что попал не в социально близкую среду, и на выручку ему приходил партийный бонза. Но и того не очень получалось. Мы же читали «Две тысячи слов» - порождение Пражской весны, образец гражданского мужества и человеческого достоинства.

Открытием для нас, достаточно целомудренных вчерашних десятиклассников, была черная лестница с ее душевной эротикой. Но кроме откровенных обжиманий там часто царил гитар с уже знакомым Окуджавой, восходящим Высоцким, незнакомым Галичем. Мы росли на бардовской песне. И мы тоже, могут сказать ребята из 80-х. Да, но она пережила свою трансформацию. Не забавно ли, что на ее небосклоне главной в восьмидесятые годы оказалась фарсовая фигура Александра Розенбаума.

Когда выгнали меня из вуза за недоносительство на товарища, появилась большая статья в областной партийной газете, полная всяких измышлений. Один из учителей нашей школы отреагировал весьма знаменательно.

- Так вот он каков, этот Крюков, - сказал учитель. — А я-то и не подозревал.

Это, безусловно, здорово, отказаться от своего мнения, которое сложилось за пять лет личного общения, и сразу ваять на веру безответственные суждения потому, что они напечатаны в газете. Мы, значит, с ним и на уроках виделись, и на переменах, и на улицах поселка, и родителей он знал. Но вот — статья, вот — газета, вот — правда. Чего же удивляться и поддержке наших вторжений и массовым проклятьям Солженицыну и Сахарову. И как неуютно было жить таким выродкам, как я, в эти ж, скажем, афганские годы. Я бы туда не поехал, пусть судят, сажают. Но люди ехали, отцы провожали туда сыновей, тревожились. Хуже было смотреть на призывников, когда с безобразно пьяными мордами, расхристаные, орали: «В Афган еду! Душманов гробить!».

Интересно, что мудрое высказывание «Подвергай все сомнению» никогда не было запрещено и не считалось крамольным. Применять его, однако, не любили. Так было жить проще. И пресса старалась всюю. Удачи ее были налицо. Народ оболванили достаточно круто. Да что там народ! Мой давний товарищ, неглупый человек и историк по образованию, откладывая прочитанные «Известия», согласно кивал и растолковывал мне, что помочь бедным афганцам был наш долг, что мы просто не могли не сбить

южнокорейский «Боинг», ведь есть такое понятие как престиж государства.

Не знаю, как это у меня сочеталось, но... хотелось стать журналистом, писать, печататься. Нелепость моих устремлений была в том, что не соглашаясь жить по их законам, то есть врать, я хотел в их системе участвовать. Не лез в их монастырь со своим уставом, но пытался работать с ними. А они хорошо видели, что я — чужой.

Я слушал записанные на магнитофон «Размышления о стране и мире» и никак не мог понять, за что же можно преследовать автора. Я не враг своей Родине, не желаю ей зла. И те же мысли — созвучные и новые, которые едва у меня начинали брезжить, я слышал сейчас. Значит, преследуют за мысль, за свое понимание вещей и событий. Значит, правда не нужна этому государству, этому строю, тем, кто стоит у власти. Но теперь я ощущал и внутреннюю поддержку таких людей, как Сахаров. Я не был способен на активный протест, но не врать хотя бы я мог. Вернее, я уже не мог врать. И хотя был изгоем, но не единственным.

Постепенно я узнал людей, у которых было четко оформлено неприятие этой системы. Мы служили ночными сторожами в цветочной теплице и могли много говорить. Мне открылись новые горизонты. Ребята были с другой системой координат. И тогда, на рубеже восьмидесятого года, я узнал хорошего поэта Бродского, отличного прозаика Набокова, ядовитого Войновича, услышал несколько просветительских лекций по философии с именами Бердяева и Хайдеггера. И стал я почитать всякую неподцензурную литературу. И вскоре четко понял: никто не смеет запретить мне делать то, что я хочу (не в ущерб ближнему, конечно). Читать, писать, слушать, говорить. Всякие посрамления бесполезны, пусть зовут отщепенцем, противопоставляют народу. Этого, своего, я ни с кем не хочу согласовывать. Много позже я прочел у Алданова: «Есть вещи, которые никакой «народ» у человека отнять не может» (это о свободе).

Но идиотическое мое тяготение к человеческому идеалу и тут не могло реализоваться. Мне доставало теплоты, непосредственности, полной открытости. Ребята были умными, колкими, ироничными. Но ирония, по справедливому замечанию Надежды Мандельштам, действительно, оружие беззащитных. И часто в наших бесплодных диалогах звучало: «А вот было бы хорошо...». И так мы

помаленьку себе бухтели всякую крамолу в таком сослагательном наклонении. Но и то было славно, что мой выбор окончательно определился. Оставил меня наконец мысли о газетной карьере. Теперь я знал, что я — с этими, а не с теми.

Непросто было избавиться и от вбитого со школьной скамьи почтения к «рабочему классу». Вся хорошая русская литература пестовала уважение к трудящемуся человеку. Но по странной иронии судьбы это определение — рабочий — распространилось автоматически просто на человека физического труда, который не умел и не хотел работать, а то и просто на бездельника. Я видел, что работу свою многие из них выполняли прямо-таки с отвращением: грузчик брезгливо бросал оземь ящики, шофер не притормаживал на ухабах, ремонтник дубасил кулаком по телефону-автомату.

Мой друг Борис устроился сразу после школы на завод и трудился на одном месте, наращивая квалификацию. О говорил о своем окружении довольно критично. Он имел на это право большее, чем я — был одним из них. И он разоблачил эту подмену.

— Какие это рабочие? — говорил Боря. — Это шелупонь, люмпены. Правда, орут про то, что работяги и пролетариат именно они.

Поддерживала в недавние «годы безвременщины» литература. Может быть, теперь, с падением цензурных бастионов и запретов, наступают для подлинной литературы золотые времена? Куда там! С одной стороны, мы говорим о том, что Ильич бессовестно выбросил из политики «моральный момент». С другой стороны, в литературе его пытаются напрочь изгнать, осмеять, смазать. И вот я читаю издевательски, в кавычках употребляемые «добролюбовь», «гражданственность». И вот почти как лозунг дня воспроизводит фразу Оскара Уайльда: «Нет книг нравственных и безнравственных. Есть книги, написанные плохо и написанные хорошо».

Мы дожили до поры, когда коммунисты нас не учат, когда исчезли с экранов и страниц рабочие и колхозники как олицетворение мудрости. Но нынешние победители мне несимпатичны, и не верю я, что они спасут государство. Мы получили личную свободу, мы ожили, мы хотим гордиться своим новым государством. И теперь я вправе ждать от него защиты моей личной свободы. Ее, что называется, обеспеченности. Но нет этого. Хлеб дорожает, пенсионеры бедствуют. Когда я вижу на киноафишах названия, в которых варьируется слово «убийство», когда в автобусах и на

улицах царит безнаказанно пьяное хамло, я смотрю на ближайшее будущее скептически и безрадостно.

Расхожей стала фраза из романа Юрия Домбровского о том, что безусловные человеческие ценности - это факультет ненужных вещей. Теперь, в пору декларированного приоритета общечеловеческих ценностей, это сказано как бы о вчерашнем дне. У меня свое немеркнувшее воспоминание на эту тему. Лет через пять после окончания школы я встретил Толю из параллельного класса. Раньше я всегда чувствовал близость его внутреннего мира. Перекинулись о том, о сем, разговор неведомо как коснулся Чехова, и Толик сказал:

- А вот Чехова-то долго пришлось мне вытравлять из себя.
- То есть, как это? - спросил я.
- Все эти заветы порядочности, чести, бессеребренничества.

Ох как непросто получилось.

- А зачем тебе это надо было?
- Зачем? Да чтобы жить нормально. Чтобы с людьми легче ладить!

Если бы я так же пришел к его выводам, я бы остался в жизни ни с чем. Без божества. Без вдохновения. Без опоры.

*«Томский молодежный экспресс»,
10 апреля 1992 года.*

БРИТАНИЯ В СЕРДЦЕ

Я сказал себе, что не поверю в происходящее, пока не ступлю на землю Хитроу. Но поверил чуть раньше, когда самолет стало бить мелкой дрожью, и стюардесса пояснила, что мы попали в турбулентный поток над Амстердамом. «Над Амстердамом», - повторил я и понял, что преодолел притяжение любимой родины.

Исключенный из вуза в 69-м, изгнанный с работы в 80-м за любовь к свободному слову, я не мог в ту пору помыслить о путешествии даже в Монголию или Болгарию. А когда пришли новые времена, и теоретически стало возможно отправиться куда угодно, заботы о хлебе насущном накрепко прилепили к родной земле. Потому известие о возможной поездке в Великобританию воспринял скептически, полагая, что какой-нибудь случай непременно вмешается.

Но срок приближался, все шло по плану, и мы поехали.

МАЛЕНЬКОЕ ПОЯСНЕНИЕ

О правах человека в последние годы заговорили в российской школе. Но у наших учителей пока нет ни опыта, ни достаточных знаний. И все-таки кое-где уже найдены верные подходы. Зарубежные эксперты, посетив Томск, высоко оценили организацию работы по изучению прав человека в технико-экономическом лицее (бывший российско-американский). Потому именно здесь, на базе лицея, и была проведена летняя школа, где Элли Кин из Лондона и Душан Ондрушек из Братиславы в рамках учебной программы известной неправительственной организации Международная Амнистия поделились с томскими учителями методикой и педагогическими приемами, призванными сделать этот предмет интересным для детей.

В Британии мы - шестеро учеников летней школы - были гостями «Международной Амнистии» (МА). Элли Кин стала нашим проводником на эти восемь дней. В офисе МА встречались и беседовали с Юлией Шервуд и Хэзой Макгилл, которым тоже не чужды российские проблемы.

С координатором томской группы «Россия-4», преподавателем лицея Владимиром Львовым нас поселили в одной комнате уютного «Джордж-отеля» в центре Лондона.

В первый же вечер мы натолкнулись на магазинчик со своей особой аурой. «Крот-джаз» или лучше «Джазовый крот» ему название. И правда, такие милые антики-кроты копались там в коробках и на полках, в дебрях компакт-дисков и пластинок. И мы с Владимиром тотчас присоединились к ним. Он быстро выудил в «компашках» Синатру, а я в архивном виниле откопал подлинные шедевры - оркестр Бенни Гудмена, Армстронга в компании звезд Чета Бейкера. Из динамика мягко плескались звуки трубы, поддерживаемой контрабасом. Два продавца напоминали вчерашних хиппи, хотя лишь один был длинноволосым, а другой - вполне лысым. К ним подходили, заговаривали, смеялись завсегдатаи, и я похорошему им позавидовал.

И еще один магазин мы открыли. Он был материальным аргументом против наших агунов, уверявших, что Запад не читает настоящей литературы. Не скажу «за весь Запад», но здесь в книжном развале встречались Чехов и Достоевский, Диккенс и Фаулз, Толстой и Пастернак. Мы обзвали про себя магазинчик «Академкнига», но толкались тут читатели совсем не академичного вида, простые люди разного возраста.

Впрочем, кто их разберет, чем они занимаются в жизни. Одеваются англичане просто, лишь бы удобно было. Женщин с подведенными ресницами мы увидели только на открытии в выставочном зале экспозиции Эрмитажа «Русское золото». Вот там, в холле, и правда, блестело золото и отливало серебро, прогуливались мужчины во фраках и дамы в платьях с обильным вырезом со спины.

...В первую лондонскую ночь мы проснулись в три часа ночи. Сна ни в одном глазу. И немудрено: в Томске сейчас пробудился уже самый ленивый - десять утра.

- Чего ж мы лежим? - сказал Володя. - Будем потом горько сожалеть о праздности и потерянном времени.

Встали, сполоснулись прохладной водой, заварили растворимый кофе, предоставленный заботливыми британцами, и услышали деликатный стук в дверь. Учитель из Моряковки Федор Новичков готов был составить компанию.

Мы вышли в незнакомую октябрьскую ночь. Нет, улицы не залиты светом. Его ровно столько, сколько необходимо для безопасного передвижения. (Я не говорю о плещущих огнями Пикадилли или Странде - этих витринах города). Идти можно достаточно уверенно - пешеходные тротуары не обрываются резко, как у нас, на въездах во дворы и на пересечении с переулками, а плавно переходят в дорогу.

Не было дня, чтобы не шел дождь. Мы сказали об этом Элли. И что же услышали в ответ? Разве это дождь, сказала наша проводница, дождь - это значит, с утра до вечера, как было до вашего приезда. А вот уже и просветы в тучах, вот и солнышко блеснуло. Однако вскоре мы опять разворачивали зонты. Теперь вы поняли, почему англичане так любят говорить про погоду, заметила Элли, она меняется сто раз на день. Впрочем, мы и не думали жаловаться. Дождь делал город человечнее. В его магазинчиках, вокзалах, кафешках было тепло и уютно. Его Тауэр под мелким дождем был, как и положено, мрачнее и величественнее. Лишь однажды, как помню, дождь и ветер распоясались донельзя. Дело было на Трафальгарской площади, хлестало так, что ничем не накрыться, да и сами зонты вырывало из рук, выворачивало их наизнанку. Минут пятнадцать длилось безумство, потом ветер упал, исчез, а под легким моросящим дождем опять бродили по асфальту и гуляли голуби.

Лондон - город, который, как мне показалось, не желает жить напоказ. Это город-труженик, спокойный, уютный. Здания, представляющие безусловную историческую ценность, специально подсвечены, но не на вынос, не чересчур. И Вестминстерское аббатство, и парламент, и колонна Нельсона и знаменитый Биг Бен. И выглядят они строго и достойно.

Владимир настаивал, что все вокруг моста Ватерлоо дышит любовью. Это заявление можно принять за правду, учитывая конкретные обстоятельства лондонской жизни нашего друга, а также не уходящие из памяти большие печальные глаза Вивьен Ли (стариканы вроде автора помнят «Мост Ватерлоо» и «Леди Гамильтон»).

В общении мы обрели только одну общую культурную фигуру - Диккенса. Этого все-таки мало. Ни Джером, ни Конан-Дойль, ни Киплинг (как ни чудовищно) не любимы британцами так, как нами. Вспоминая строки Киплинга: «Да, Запад есть Запад, Восток

есть Восток, и с места они не сойдут», я думал, как бы старик Редиад смотрел на Лондон, переполненный индусами и неграми. Видимо, не очень одобрительно. Вот и я - интернационалист - говорю себе, что Британия, выигравшая во второй мировой сражение с германскими люфтваффе (битву в воздухе), теперь без боя уступила город африканцам. Наши друзья корректно отвечали: «Они такие же граждане страны». Вот она, оборотная сторона их пресловутой демократии.

Что есть доверие? Вера в честность друг друга. Ты знаешь, что мы - равно достойные люди, и доверие предполагает взаимную ответственность.

В Британии, конечно, впечатляет этот превентивный жест доверия ко всем, прибывающим в страну.

И хочется соответствовать такому к тебе отношению.

И потому неприятно, а где-то даже отвратно было слушать молодого человека, недавнего беглеца из России. Он неутомимо заливался про то, какие простак эти англичане, как легко наколоть их в различных мелочах. «Представляете, они на слово верят?!» - вскрикивал он, предлагая посмеяться вместе. Никто из наших его не поддерживал. И слегка отрезвленный этим, он оговорился, что солгал *всего пару раз* для того, чтобы устроиться на работу. А дальше будет жить по их замечательным британским законам, честно и правильно. Мне не очень поверилось. Хотя кто знает.

В Британии как-то с первого дня осознаешь простую истину, что мир состоит из людей и создан для них. И так называемая общественная жизнь движима потребностями человека, а не идеями, пусть даже самыми благими.

Наверное, у каждого из встреченных на этих стрит и роуд есть мечта, и она постепенно воплощается в жизнь. Разными способами, исключая один. Не за счет другого человека.

Никто не может нарушать права других людей. На улицах Лондона это замечаешь (не можешь не заметить) на обиходном уровне, когда в обтекающем тебя потоке горожан то и дело всплывает волшебное слово «сорри», хотя никто никого на задел и не толкнул.

Удивительный порядок, в котором живет город, не объясним с первого, да, видимо, и со второго взгляда. Начиная с пресловутого

будничного «Ол райт!» все не соответствует расхожим российским представлениям о порядке. Нет строгих указующих плакатов, не мозолят глаз полицейские. Порядок как продолжение взаимодоверия. Мы соблюдаем законы, а законы охраняют нашу свободу и собственность.

И охотно, без сопротивления соблюдать законы помогает, мне кажется, мораль. Слово напрочь скомпрометировано у нас. «Что ты мне мораль читаешь?!». Но ведь мораль не выдумка воинствующих мракобесов, как сказал бы какой-нибудь Ильич. Она выросла из жизненных потребностей. Это опыт народа, в нормальном обществе впитываемый с малолетства.

Понятно, что нам - гостям на неделю - видны лишь внешние приметы. Уже помянутая предупредительность, готовность всегда помочь. В нашем первом ночном походе мы потеряли верную дорогу к Британскому музею. Карта осталась в отеле. Представляете: едва проклевывается рассвет, на углу жестикулируют и спорят на чужом языке три жлоба, которых лучше бы обойти за три версты. Нет, британец совсем не суперменнистого вида направился прямоком к нам с вопросительным «Хелп?». И это предложение помощи потом неоднократно повторилось.

От некоторых предложений мы, правда, отказывались. Как-то, в другом ночном походе, из-за стекла, на котором было написано «Сауна», поманила пальчиком симпатичная мулатка. Я показал ей ответным жестом, что, дескать, хороша, и мы осмотрительно проследовали дальше.

Но все-таки главной целью поездки было не изучение нравов и характеров британцев. Нам показывали, как в школе дают азы прав человека, элементы правосознания. Как работают учителя в области гражданского образования.

Впечатлил и запомнился урок, где было занято около 150 старшеклассников. Собственно, не урок, а ролевая игра под названием «Беженцы». Ведущему игру Дану Джоунсу помогали ассистенты - учителя. Поразительно то, что при неизбежном шуме, оре и скученности в актовом зале школы, ученики быстро понимали, что от них требуется и вживались в свои роли. А роли были различные: беженцы, таможенники, работники иммиграционной службы, беженцы, умершие в дороге. И даже самолеты, уносившие не-

прикаянных из Европы, где их не хотят почему-то принять, в другие страны. У всех были свои железные аргументы - и у несчастных, покинувших родину, и у жестокосердых чиновников.

Но есть права человека, настойчиво напоминал Дан. Этот обаятельный бородач не требовал исполнения неких установок. Он призывал к осмысленно, сильному анализу, обсуждению конкретной жизненной ситуации. В группах предлагалось составить список предметов, необходимых беженцам в многотрудной дороге, - это тоже приближало к пониманию испытаний, выпавших на их долю.

В конце урока-игры после общего обсуждения проблемы, Дан Джоунс, разумеется, ненавязчиво помог сделать какие-то необходимые выводы.

В этой же школе нас познакомили с медиаторами. В кабинет директора вошли три симпатичные старшеклассницы. Их никак не смутило обилие народа, в том числе иноземных гостей. Они сели за стол и как равные равным рассказали нам о своей работе. Заключается она в разрешении конфликтов. Или, проще сказать, в налаживании взаимопонимания. Ведь сколько в повседневной школьной жизни возникает конфликтов - больших и малых, надуманных и реальных.

В медиаторы идут по призванию. То есть идут те, у кого есть потребность бескорыстно помочь ближнему, снять стресс, вернуть доброе расположение окружающих. Медиаторы проходят психологическую подготовку. Ну и конечно, они сами, своим поведением зарабатывают доверие окружающих. И школьник, попавший в сложную ситуацию, скорее обратится к ровеснику, который ему ближе, который лучше его поймет, чем к педагогу, пусть и самому хорошему. А медиатор иногда становится посредником между учеником и учителем в тех вопросах, которые ему не разрешить.

Во всех школах меня приятно удивило, что дети мало орудут жвачкой. Учителям жевать вообще запрещено (одна из наших, подверженная этой заразе, на время визита тоже взяла себя в руки). В остальном - поведение свободное, без амигошонства, конечно. Надо выйти из класса - выходят. Надо взять с общего стола лист бумаги, подходят и берут. Учитель, если хочет и ему почему-то удобно, может сидеть на столе и покачивать ногой.

Именно так вел урок молодой человек, знающий по-русски «пожалуйста» и «хорошо», потому что его мама некоторое время работала в России собкором английской газеты.

Он предложил детям перечень различных вещей от «музыкального центра» до «горячего обеда» и «ежедневной смены белья» и предложил распределить их на шкале ценностей на необходимые, желательные и те, что представляются роскошью. Мы тоже начали вдумчиво заполнять свой лист. Учитель подослал к нам негритенка, который хвалился быстро выполненной работой. Оказывается, он поместил все в один раздел - необходимое. Наши возражения, что музыкальный центр и ежегодный отпуск за границей таковыми не являются, отклонил. Он сам уже побывал во Франции и на родине отца в Нигерии. Особых аргументов против у нас не нашлось. Другой мир, иные критерии.

В этой школе, расположенной в пригороде Лондона, как нам сказали, собраны ученики 48 национальностей. Это дети тех, кто недавно выбрал Англию на жительство, для кого язык еще не стал вполне родным. Потому директор счел нужным извиниться за то, что мы увидим и услышим, то есть за уровень. Напрасно, мне кажется, извинялся.

В другой школе - начальной - всем нам запомнилось заседание школьного парламента. После занятий малолетние парламентарии собрались в библиотеке и стали обсуждать свои повседневные проблемы. Один - от горшка два вершка - опоздал, тихо и достойно прошел на свое место и включился в обсуждение. Говорили о толкотне, которая возникает в очереди на обед. Предлагались способы устранения. Директор школы выслушивала всех внимательно и серьезно, занося предложения в свою тетрадь. Потом дети ответили на наши вопросы. Один был явно провокационным: «А если распустить парламент, скажется ли это на работе школы?». Ученики пережили некоторое замешательство. Такого они просто вообразить не могут. Опоздавший на заседание заявил: «Взрослые не всегда умнее. Как же они узнают о том, что заботит детей и что надо делать, чтобы всем жилось хорошо и дружно? Без парламента никак нельзя».

На прощание директор, милая мягкая женщина, прочитала по-русски: «Я вас любил. Любовь еще, быть может...». И, махнув рукой, мол, и так далее, завершила: «Пушкин».

Мы посетили ряд общественных организаций, которые занимаются поддержкой школьного образования, в частности, в области прав человека. И здесь нас порадовал, кроме упомянутых английских качеств, компетентность и профессионализм.

После таких встреч, уроков, как-то становится понятнее, что заставляет рядового англичанина не противиться государственным установлениям, охотно исполнять их.

Государство гарантирует защиту прав, жизни и здоровья. В таком случае предполагается подчиненность интересов государства интересам человека. Так в идеале. Насколько так в Британии, сказать не берусь, но на этой установке базируется воспитание и обучение маленьких граждан страны.

...В последний вечер мы отправились в уже ставший родным паб под названием «Лондон». Здесь мы банально - буквально локтями у пивной стойки - общались с простым английским народом. Здесь видели на телеэкране разгром нашим «Спартаком» их «Арсенала» и бурную реакцию болельщиков. Здесь всегда было шумно и висел табачный дым, но уходить не хотелось. Несмотря на многолюдье, ни разу не возникло какой-то ссоры.

А в тот последний вечер как по заказу нам была явлена нестандартная для демократической пивной картина. Вошли мужчины совсем не пролетарского вида, можно сказать, джентльмены, и дамы в вечерних длинных платьях. Забавно, что они спокойно вписались в обстановку. И мы стояли рядом, потягивая свой «Кроненбург» и «Гиннесс» и смотрели на золотые (или золоченые) браслеты на щиколотках дам.

А потом, сами понимаете, вновь Хитроу, самолет, который уносил нас, и Великобритания из реальности превращалась в золотой сон, перемещалась в копилку памяти.

«Я берег покидал туманный Альбиона...».

*«Образование и права человека»,
выпуск 4, декабрь 2000 года.*

ТО ЛИ ЭТО, ЧЕГО ХОТЕЛОСЬ? (БРЮЗЖАНИЯ СЕМИДЕСЯТНИКА)

1. ЖВАЧКА

В утреннем автобусе, по пути на работу, вроде бы некстати вспоминается недавно прочитанное. Николай Бердяев писал о послереволюционной России: «Появились совершенно новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе. Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц». Нет, почему же некстати. Вот он, этот «новый антропологический тип», во многом порожденный жвачкой. Конечно, мы знали о ее существовании, пробовали привезенную друзьями из-за рубежа. Но тут она буквально заполонила. И заходили челюсти.

И не отягощенные мыслью лица соплеменников сделались холоднее и тупее. Даже на самый невысказанный взгляд. Жевание простирается на все сферы жизни - от автобуса до зала Научной библиотеки, от улицы до серьезных пресс-конференций. Сходство со стадными животными дополняется громким «вау!», также заимствованным раскованным молодым народом.

Стоп, старый брюзга, говорю я себе. Разве мы в 60-70-е не смотрели с восторгом на своих экранных кумиров - Юла Бриенера или Марлона Брандо с пресловутой жевательной резинкой на зубах? И разве не чувствовали неполноценность, понимая, что нельзя запросто взять ее в буфете и сунуть в рот? Разве не обидно было, что не можешь купить в газетном киоске полноцветное изображение Элвиса или гениальных ливерпульцев, чтобы повесить на своей белой стене? Было это, было. Что ж ты, старый космополит, не рад за молодых, которые сегодня могут самую распоследнюю западную дрянь, исполненную в глянце, прилепить в каких угодно общественных местах, потому что изнанка ее клейкая?

Да, знаете ли, не рад. Вот ведь как оно причудливо и неоднозначно все складывается.

Ах, Запад, Запад, как мы любили твои искушения и миражи. Мы пританцовывали и подпевали: «Аризона! Йес, Аризона! Барселона! Йес, Барселона! Рок! Рок! Рок-н-ролл!». Мы смотрели на польского качества репродукции какого-нибудь Поллака, напрасно

ожидая душевного отклика, и все-таки откладывали картинку с уважением: свобода творчества. За эту свободу прощались и пошлость, и дешевка - ну, понятно, неизбежные издержки. Зато там не станут так разбрасываться нобелевскими лауреатами, как у нас. Зато там джазовые музыканты не играют полулегально и кулуарно. Зато там можно спокойно сказать, что тебе не нравится Маркс или даже Ленин. Зато...

Помню лето 80-го года. Замечательный светлый день. На окраине пригородного Тимирязева, прямо в бору, стоял сарай в двух уровнях. На втором этаже сидели мы за большим аскетичным столом. Хозяин Леонид наливал в стаканы нечто исполненное на травах, называя это то текилой, то джином, то кальвадосом. В чистую тишину бора вписывалась труба Майлса Дэвиса. Я впервые читал в большом количестве Бродского, принесенного одним из участников стола. «Старение, здравствуй, мое старение!» и другие забирающие дух строки. Леонид бросал на стол пачку «Аполлона-Союза» (не «Мальборо», конечно, но все-таки). И в этом рукотворном свободном пространстве сидели и кайфовали *граждане мира*. Такое вот трогательное и забавное воспоминание.

Итак - сегодня. Иноземными сигаретами завалили. Напитков тоже предостаточно, но по причине их нескромной цены предпочтение массы отдает российской водке. Про обилие жвачки уже сказано. К слову, не сдал позиций и патриотизм - по-прежнему в моде наши доморощенные семечки. Семечки, подсолнухи, шелухой которых покрыт Питер - лейтмотив «Окаянных дней» Бунина. Для Ивана Алексеевича - это символ сползания России в разруху и убожество. Нынешний студенческий Томск тем питерским мостовым не уступит.

2. ПРОКЛЯТЬЕ ГАЗЕТАМ

Но главная часть моего брюзжания посвящена делу, с которым так или иначе была связана треть жизни. Это - газета. В пору студенчества, в не самое паскудное время (до Чехословакии 68-го) мечталось делать свою газету или журнал с хорошим, добрым названием вроде польского «Попросту». Потом, когда наша армия расквасила человеческое лицо чешского социализма, стала понятно: это - утопия. И все-таки верилось в какие-то заповедные уголки на суровых газетных полях. И они были. Что-то на моральные темы, рецензии на книги и фильмы, рассказы о нерядовом человеке,

окно в природу и т.п. Другое дело, там многое надо было читать между строк, в подтексте. Но это искусство давалось каждому, кто хотел его усвоить.

И вот пришла Свобода. Какое великое слово. Но газета с ее повседневкой чужда философствованию. Посему объявленную повсеместно свободу здесь поняли в обыденном толковании, то есть как вседозволенность. Свобода от чего бы то ни было - от цензуры, партийного досмотра, государства, каких-либо моральных пут.

Долго и творчески раболепствовали, пришла пора отыграться, распотешиться.

Кто-то из недавних молчунов с фигой в кармане вдруг обнаружил в себе мощный заряд непримиримости и обрушил его на коммунистов и сочувствующих им беспартийных. Если бы чуть пораньше... Ах, тогда, оказывается, было нельзя. Теперь можно. Однако непримиримость порой отступает. В духе нынешнего циничного плюрализма и коммунисту можно дать слово. Только заплатить за газетную площадь в том же издании, где тебя только что поливали грязью, и - пожалуйста.

Все эти антикоммунистические выплески теперь (когда разрешили) представляются мне довольно забавными. Одна знакомая, из плеяды коллективно прозревших, заряжаясь газетной энергией, жадно спрашивает при встречах:

- А ты ненавидишь коммунистов?! Какая-то в тебе успокоенность... А я так ненавижу! Что сделали с Россией за семьдесят лет! Ужас!

Ладно, запишите меня в соглашатели. Нет у меня сегодня к ним ненависти. Можно так же горячо сокрушаться, что сотворили с Россией нынешние правители, и так же пылать праведным гневом. Да только, по-моему, неплодотворное это занятие - пылать. Хочешь бороться? Да они же все на виду. Зайдите в Белый дом, почитайте на кабинетах таблички - там масса бывших коммунистов, которые выбросили свои партбилеты или просто положили в стол. Эти ребята хорошо сели на новые места. У одного даже фамилия легко и символично читается туда-сюда: Казак.

И бывший секретарь Томского сельского райкома опять на высоком посту. В 80-м, когда кагэбэшники разгромили наш маленький клуб читателей самиздата, я был сотрудником районки. В редакции, разумеется, прошло общее собрание, выписали положенный выговор. Нет, секретаря это не устроило, и он намекнул, что

неплохо бы уволить. Месяца три редакторша наша тянула с исполнением пожелания, но, когда оно приняло императивную форму, пришлось уступить. Что же мне теперь ходить и ненавидеть этого Габрусенку? Не много ли чести?

Хотя разве не тема, что ключевые посты в государстве (и в областной власти, как его модели) занимают труженики обкомов и горкомов, выпускники высших партийных школ, бойцы невидимого фронта и их сексоты? Большая, серьезная тема. Но мой товарищ, который неумоимо и язвительно кроет коммунистов **ВООБЩЕ**, ни разу к данной теме не прикоснулся.

Газета как бы не видит, что старая структура успешно пожирает хилые ростки демократии. Трехцветный флаг над бывшим обкомом не должен заморочить нам голову. Тут бы и помогла газета понять, как лицедеи эти посты заняли, кто их туда посадил, как нам вместе их оттуда выкурить. Но...нынче как-то больше принято просто информировать. Дескать, думайте сами. Поменьше пафоса и страсти. Из эмоций допустима легкая ирония.

Сегодняшние бойкие перья - продукт своего времени. Но, может быть, не вымерли те, кто мог бы помочь им подняться до анализа, до осмысления. Нет, не вымерли, но побаняются, как бы не предстать этакими ретроградами. Но учить - не значит поучать.

Студенты-журналисты - рабы компьютерных игр - читают мало. Самое большее, что они знают, это - Борхес, Кортасар, Кастаньеда, обойма фантастов. Они спрашивают у меня наскоро посмотреть перед зачетом Булгакова, Пастернака, Платонова, Замятина. У них не возникает ни малейшего желания поставить этих авторов на полку и сделать спутниками жизни. Этих ребят не встретишь в книжных магазинах. Послушайте их разговоры между лекциями. Послушайте и ужаснитесь убожеству тем и лексики. И то правда, это не филологи, а газетчики. Но в этом залог нашей окончательной гибели. Традиционно ведь самая читаемая штука в обществе - газета. А это её сегодняшние и завтрашние творцы. Если и мнилась здесь хоть какая-то возможность сопротивления пошлости, то теперь и этот рубеж сдан.

3. НИЖЕ ПОЯСА

Я вспоминаю томскую молодежку начала 70-х. Здесь группировались, вихрились, вращались пишущие люди разного возраста и пола. Раскручивались споры, диспуты. Казалось бы, как

работать в таких условиях? Но ведь работали, и получалась (при тогдашнем идеологическом прижиме) интересная, живая газета. А всё потому, что налицо была обратная связь. Забрехали на огонёк те самые читатели, что (вольно или невольно) подбрасывали темы, остроумными суждениями, искромётными шутками задавали и газетчику уровень, ниже которого нельзя было опускаться. Да что там: сами творцы газеты сочиняли рассказы и стихи, замахивались на романы...

Неостановимо время, они уже почти неразличимы в плотном тумане лет: Валера Сердюк и Юра Смирнов, Гена Плющенко и Юра Соломонов...

Вроде возрождается нынче в «Томском вестнике» (задуманном когда-то как газета для интеллигентного читателя) литературная страница. Но открываешь её - и темнеет в глазах. некий автор ставит к своему неказистому стихотворению эпиграф «Мне на плечи кидается век-волкодав» и подписывает «Б.Пастернак» (12 января 2001 года). Тираж 34 491 - это столько человек должны принять на веру приведенное утверждение! нет, всех, по-настоящему, не проведешь, знает кое-кто Мандельштама, знает. И всё-таки печально...

Пошлость и невежество всегда идут рядом, в одной упряжке. Оставив культуру на обочине как ненужный балласт, газета нашла заменители, в том числе и подаваемые на полном серьёзе объявления об услугах ясновидящих, целителей на расстоянии, «потомственных гадалок», кодунов-ведунов... Остановитесь, вспомните о здравом смысле и профессиональном уровне! Откажитесь от сомнительных клиентов!

Куда там. Деньги, чистые деньги. Как от них откажешься? А ведуны, взяв силу, заливаются цветисто: «Эффективно! Долгосрочно! Надёжно!».

Потихоньку происходит, я полагаю, ужасное. Газетная братия (нового поколения) никого не желает просвещать. Хуже того - не может. Она просто опускается до уровня ниже среднего и на этом уровне обретает своего читателя. Стиль и манеры этого уровня - пошлость, хамство, бытовой нигилизм - легко усваиваются газетчиком и возвращаются - на страницах - в более-менее оформленном виде. Так рождается единение. Человек из Газеты становится «своим парнем».

Иногда газета дает слово социологу, психологу, философу. И он что-нибудь излагает на своем языке. В силу этого мало кому интересное. На границы таких резерваций пока не покушаются. Но раздражающий фактор вскоре спровоцирует читательский протест: «Кому это надо?!». И заповедные уголки интеллектуалов ликвидируют вовсе.

4. ЗАПРЕТНЫЕ ЗОНЫ

Интересно, что появились свои запретные зоны. Они - иные, чем в советские времена, но заморочки тут даже поинтереснее. Помнится, вне критики тогда были крупные партийные функционеры. С завидной расторопностью их место заняли деятели русской православной церкви. Сейчас без попа вообще не могли - он повсюду: вкушает на освящении банка или офиса, пригубляет на открытии казино, преломляет хлеб с икоркой на великосветском приеме...

О, Господи, как вспоминается шепотом произносимая молитва моей бабушки, как бессонной ночью слышишь печальный вздох христианских мучеников... Зачем они страдали, зачем их отчаяние и величие? Я понимаю, конечно, что нельзя судить веру по этим сегодняшним выразителям, посредникам, так сказать, проводникам. И всё же...

С благословения благочинных издаются стихотворные сборники, священники двинулись в школы, не встречая никакого сопротивления. Ну хорошо, нет сегодня церковников в родном университете. Но завтра? Поневоле призадуматься: да светское ли у нас государство? Кажется, еще да. Но бизнес на Христе процветает. А самого Иисуса, как остроумно заметил кто-то, успешно распяли на телеантенне.

И вот уже томский хулиган в рясе начинает требовать: отдайте церкви помещение краеведческого музея, исторически оно принадлежит ей! Допустим, так. Дом золотопромышленника Асташёва был продан наследниками духовному ведомству в 1878 году. Тогда и была пристроена домовая церковь, и дом стал епископским дворцом. Так что - отдавайте! А музей куда? Ничего не знаем, шумел владыка Аркадий, размещайте, где хотите, нас это не касается. Печально, что его поддерживал кое-кто из областной власти, и только благодаря решительной позиции мэра Макарова на этом безобразии была поставлена точка.

Попытался я выступить против мракобесия, две наши уважаемые газеты печатать отказались. Супротив церкви нельзя, религия - спасение народа!

- Ты что же хочешь, чтобы опять коммунисты на шею сели? - как несмышлёнышу попеняла мне старая знакомая журналистка.

Что за чудовищная альтернатива? Почему именно так, по-горьковски, «или - или»?

В своих давних размышлениях Солженицын так определял цель земной жизни: «...окончить её нравственно более высоким, чем начал». Что ж вы думаете, что повседневное христианское сознание, взявшее в основу девиз «согреси и покайся», тяготеет к какому-то духовному развитию? Посмотрите на лица людей, заполонивших церкви. Вы что, всерьёз предлагаете связать надежды на возрождение и очищение общества православной верой, как её преподносит РПЦ? Нашлись златоусты (а они всегда находятся), заявляющие о благодати атмосферы православия (в российском исполнении) для развития культуры. Ту уж хочется в сердцах воскликнуть: «Побойтесь Бога!». Православие с его культом «соборности», как замечали исследователи мировых религий, особенно нетерпимо к инаковости человека, к многообразию типов личности...

Ну хоть бы кто-нибудь порассуждал об этом на газетных страницах! И о том, почему вера нынче непременно связывается с исполнением религиозных ритуалов... Почему не поразмышлять вместе - хорошо или плохо сегодняшнее засилье религии (это слово точно отражает ситуацию).

Религиозность стала необходимым положительным признаком политического деятеля.

В интервью «Литературной газете» об этом определенно и (отважусь на такое слово) самодовольно говорит архимандрит Пётр Поляков: «Сейчас, когда духовных ориентиров в обществе практически нет, кроме как Русская православная церковь, которая создает души людей, её влияние и авторитет будут возрастать. Об этом свидетельствует и политическая жизнь страны: сейчас ни один политик не посмеет высказать что-либо недостойное в адрес Православной Церкви. Иначе всё политическое будущее для него будет закрыто».

В этом пассаже замечательны категоричность высказывания и это казуистическое определение «что-либо недостойное». Что же,

например? Сказать, что церковь освятила войну в Чечне? Сказать, как самоотверженно наши батюшки совершают молебны, крестят и причащают солдат, а гробы с нашими мальчиками всё идут и идут? Да, я слышал от тех, кто воевал, что на войне неверующих не бывает. И всякий человек верит в спасительность чего-то для себя: молитвы, талисмана, пусть и нательного креста. Но когда церковные иерархи говорят о Божьем благословении происходящего массового убийства, это уже, простите, за гранью понимания.

ЭПИЛОГ

Да что же это такое, чёрт возьми? Иногда покажется, не подвинулся ли ты рассудком. Многие совершенно чётко поставлено с ног на голову. Как часто вспоминается мне новосибирский приятель, задумчиво произносящий: «А хорошо ли это? То ли это, чего хотелось?». Нет, не хорошо и не то. Я бегу как огня старую учительницу, которая при встрече с удовольствием причитает: «Ну что, доволен? Этого ты добивался? Доволен теперь?»

Во-первых, я ничего не добивался. Слишком бездеятелен по натуре. Во-вторых, мечталось совсем не об этом. Но разве кому-нибудь это интересно. Что и кому я хочу доказать? Никому и ничего. Вот высказался, и на душе полегчало.

...А где мораль, необходимая часть старой советской публицистики? А - нет её. Вот тут-то я вполне в духе времени ставлю точку. Без гнева и пристрастия.

*«Вечерний Томск»,
10, 12 апреля 2001 года.*